

Лидия Чарская

Таита



Лидия Алексеевна Чарская

Таита

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=634895

Лидия Чарская. Собрание сочинений:

Аннотация

В длинной, продолговатой комнате ряды столов, и за ними на жестких скамейках без спинок около трех сотен зеленобелых девушек, одинаково одетых в тугие, крепкие камлотовые платья, напоминающие своим цветом болотных лягушек, и в белых передниках, пелеринках и привязанных рукавчиках, именуемых на институтском языке «манжами». Подается ужин, состоящий из горячего блюда, затем чай с булкой. После ужина – вечерняя молитва...

Содержание

Глава I	4
Глава II	9
Глава III	19
Глава IV	35
Глава V	47
Глава VI	68
Глава VII	86
Глава VIII	104
Глава IX	123
Глава X	147
Глава XI	172
Глава XII	183
Глава XIII	196
Глава XIV	206
Глава XV	215
Глава XVI	230
Глава XVII	242
Глава XVIII	256

Лидия Алексеевна Чарская

Таита

Глава I

– С нами крестная сила! Ветер-то, ветер какой!

– Ну и погодушка!

– Высунься-ка, поди-ка на улицу: так тебя и закружит, так и завертит.

– До святков еще, почитай, два месяца, а стужа какая! Не приведи Бог!

– Нынче с утра выюжит... Как намедни в лавочку бегала, думала с ног метелью собьет. Едва-едва обратно добежала...

– Тише, девушки, тише! Никак стучит кто-то?

– Как не стучать... Стучит, понятно! Она тебе и стучит, и поет, и свистит на разные голоса.

– Нынче пушки из крепости палили. Сказывают, это значит, вода из Невы выступит к ночи.

– Храни Господи! Тогда пиши пропало: зальет наш подвал.

– В первый этаж переведут, не бойся; будем тогда вроде как барышни-институтки. Знай, мол наших.

– Да тише вы, сороки! Спать пора, а они стрекочут. Небось завтра с петухами вставать, а они спать не дают.

– Стойте, девушки, помолчите! Впрямь, кто-то стучит.

На миг затихли голоса, и комната погрузилась в полное безмолвие.

Впрочем, это не комната даже, а широкий, длинный коридор. Около двадцати узких, убогих, железных кроватей, прикрытых одинаковыми нанковыми серыми «солдатскими», как их называют, одеялами, убегают двумя рядами в темноту. Электрическая лампочка слабо освещает переднюю часть длинной безобразной коридора-комнаты; задняя скрывается во мраке. Только там, в дальнем конце ее, слабо мигает огонек лампад перед божницей. Куцые окна приходится в уровень с землей; из них видны лишь ноги проходящих по двору и саду людей.

Это – помещение для женской прислуги Н-ского института. Это ее дортуар, спальня, где она ютится ночью, за исключением лишь тех девушек, которые спят наверху, в спальнях для институток, так называемых дортуарных девушек, счастливиц, миновавших угрюмый подвал.

Здесь, среди подвальной прислуги, есть и старые и молодые. Все они – «казенные» служанки, то есть «не помнящие», а то и вовсе не знающие родства, взятые из воспитательного дома и поступившие сюда в очень молодом возрасте, 16–17 лет. Большая часть их проводит всю свою жизнь в стенах этого казенного здания. Многие из них уже старухи. Несколько десятков лет провели они здесь, убирая классы, дортуары воспитанниц, комнаты начальницы, инспектрисы,

классных дам, приемные, подавая обеды и ужины институткам, перемывая чайную и столовую посуду, стирая белье в прачечной, – словом, неся на своих плечах все тяжелые обязанности горничных, прачек, судомоек..

Есть между ними и бельевые и гардеробные девушки, то есть такие, которые шьют белье институткам и перешивают им платья (новые костюмы заказываются на стороне у специальных портних). Эти девушки-швей с утра до ночи просиживают, согнувшись, над шитьем. Тяжела жизнь таких служанок; за грошовое вознаграждение, полтора-два рубля в месяц, они должны, как пчелы, работать целые дни. Правда, казна одевает их, дает им от себя платье, белье, обувь, все, до последнего куска мыла включительно, но за это как много они трудятся и работают на казну.

Не мудрено поэтому, что мало охотниц с «воли» приходит сюда в институт предлагать свои услуги в качестве горничных, швеек и прачек. Из двух десятков человек всего лишь одна-единственная вольная в Н-ском институте. «Вольную» девушку, по имени Стешу, приехавшую из деревни два года тому назад, здесь не любит никто. Веселая, жизнерадостная певунья, с румяным круглым лицом и искрящимися глазами, Стеша возбуждает всеобщую зависть среди своих сослуживиц. Да и как им не завидовать, когда она, Стеша, свободна как птица, может уйти; отсюда на другое место, в то время, как все остальные должны за хлеб и приют, которыми они пользовались в раннем детстве, отслужить казне, хотя

несколько лет, а иные так и остаются служить до седых волос, пока не исчезнут силы и не распахнет перед ними богадельня своих гостеприимных дверей...

Метель все шумит, все поет и визжит за стеной; неистовствует, то грозная, то жалобная, заливающаяся то смехом, то плачем.

Вдруг в эти нестройные, наводящие уныние, звуки врываются другие, совсем особые, нисколько не напоминающие ветер и метель. Громко и явственно раздается у дверей: «Тук-тук-тук»...

– С нами крестная сила! Снаружи это... Что такое?... В такой неурочный час, Господи...

И самая старшая из служанок, пятидесятитрехлетняя Агафьюшка, за свой властный деспотический нрав прозванная институтками «Марфой Посадницей», тяжело кряхтя, поднимается с постели, на которой она только что принялась растирать свои истерзанные ревматизмом ноги.

– А может, надсмотрщица? – робко произносит молоденькая Акуля, недавно только поступившая сюда.

– Глупая! Какая там надсмотрщица? Нешто надсмотрщица с улицы придет, – накидываются на нее добрый десяток товарок.

– Стало быть депеша, либо письмо, – Говорит хорошенькая Дунечка, беленьким ручкам и ослепительному цвету лица которой завидовала не одна институтка и которую старые седовласые девушки-служанки презрительно называют

«Дуней-белоручкой» за умение сохранять среди самой грубой работы свою природную красоту.

Про Дуню-белоручку институтки, любящие часто строить фантастические предположения, говорили, что она – перодедая аристократка, которую злые родственники, желая воспользоваться ожидающим ее богатым наследством, подкинули в воспитательный дом.

– Деша... Как же... Держи карман шире... Тебе деша от китайского императора, што ли, с извещением, что он тебя, «белоручку», замуж за себя берет? – насмешливо протянула пожилая, с ехидно поджатыми губами, сорокалетняя девушка, – Капитоша, прислуга инспектрисы, которую прозвали «шпионкой» за ее постоянные доносы начальству на всех и на всякого.

Дунечка вспыхнула; остальные захохотали.

Между тем Агафьюшка открыла дверь спальни и прошла в сени. Черный ход находился тут же, по соседству с подвальным помещением девушек. Сразу потянуло струей холода. Визг вьюги и стон ветра ворвались в длинную спальню-коридор. И перед «Марфой Посадницей» выросла в темном просвете дверей закутанная в теплый овчинный полушубок и платок широкая неуклюжая фигура женщины.

Глава II

– Что, Степанида Иванова здесь живет? – настоящим деревенским говором произнесла запоздалая посетительница.

Агафьюшка так вся и затряслась от охватившего ее негодования.

– Да что ты, милая, никак ума лишилась!.. Да нешто можно в казенное место в такую пору являться?.. Да, не приведи Бог, надсмотрщица явится – всех нас под ответ подведешь. Ступай, ступай. Завтра поутру наведайся. Нечего по гостям ходить, на ночь глядя... – затараторила она, легонько подталкивая незнакомку обратно к двери.

– Да я не по гостям, милая. Впусти, Христа ради. Мне Стеше Ивановой передать надоть кой-что, гостинчик из деревни, – взмолилась посетительница.

При слове «гостинчик» немилостивая Агафьюшка смягчилась сразу.

– Ну, входи уж, коли пришла, – снисходительно разрешила она. – Только справляйся скорее. Нету времени с тобой возиться, Надсмотрщица нагрянет, того и гляди.

– Эй, Степанида! Степа! Вставай скорее. К тебе из деревни гостя. Эк разоспалась девушка, и не разбудишь вовсе.

И, говоря это, «Марфа Посадница» будила, бесцеремонно толкая в спину, румяную, полную девушку, успевшую уже заснуть под говор и споры товаров.

Стеша просыпается не сразу. Садится на постели и протирает заспанные глаза.

– Стешенечка. Здравствуй, милая... Как живешь, родимая?.. А я к тебе из деревни, гостинчик привезла, – слышит она знакомый голос у своей кровати.

Большие серые выпуклые глаза Стеши широко раскрываются от изумления; она сразу узнает в толстой, закутанной фигуре свою давнишнюю знакомую и землячку.

– Панкратьевна! Голубушка! Вот неожиданно-негаданно Господь принес!

И, соскочив на босу ногу с постели, она бросается обнимать пришедшую.

Электрическая лампочка светит тускло. Фигура и лицо Панкратьевны скрываются в полумраке. Но от взоров находящихся в подвале женщин не может укрыться неестественная полнота запоздалой гостьи. Как будто она скрывает что-то под овчинным полушубком и теплым платком.

Немного плачущим, певучим голосом Панкратьевна говорит, обращаясь к Стеше, растерянно поглядывая на окруживших ее девушек, старых и молодых:

– Вот, Степанидушка, напасть-то какая: как померла, шесть месяцев тому назад, сестрица твоя Аграфена Ивановна, царствие ей небесное, так мы с ейной дочуркой Глашкой и не знали, что делать. Народ у нас, чай, сама знаешь, бедный... Голодать частенько приходится. В кажинной семье кажинный рот на счету, все есть просят, а тут, накося, чужую

девчонку кормить надоть... Ну, прознали мы, что ты, как у Христа за пазухой, в казне на всем готовом живешь, так и решили всем миром девчонку тебе послать. Делай с ней, что знаешь. Корми, пои ее: ты ей родная – теткой приходишься; кровь-то не чужая, – своя. Бери ее себе, Глашку-то, потому некуда ее больше девать.

Тут широкий овчинный полушубок мгновенно распахнулся, и сразу наполовину похудевшая Панкратьевна опустила на пол перед взорами ошеломленных обитательниц подвала маленькую четырехлетнюю девочку с бойкими черными глазками и вздернутым пуговицеобразным носиком.

– Ах! – дружно, не то испуганно, не то изумленно воскликнули все.

Маленькая девочка среди казенного дортуара для институтских прислуг! Это, действительно, было что-то из ряда вон выходящее.

А сама виновница переполоха забавно тарасила свои черные глазенки и без тени смущения и страха, засунув палец в рот, разглядывала тесно обступивших ее людей.

Несколько секунд длилось молчание. Все были несказанно поражены сюрпризом.

«Марфа Посадница» тяжело отдувалась, посапывая носом. Ехидная Капитоша тонко улыбалась, заранее радуясь поводу к новому доносу и неминуемому за ним скандалу. Глупенькая Акуля смотрела на малютку широко раскрытыми глазами, улыбаясь во весь рот. Хорошенькая Дунечка

брезгливо сжимала губы.

Горько плакала Стеша шесть месяцев тому назад над письмом, пришедшим из деревни. То было печальное письмо. Оно извещало девушку о смерти ее старшей сестры-вдовы, оставившей единственную малютку-дочку. И тогда же Стеша написала просьбу в деревню добрым людям приютить, пока что, ее маленькую племянницу. Письмо не дошло, или не представилась возможность исполнить ее просьбу, но малютка Глаша появилась вдруг в институте.

Стеша, растерянная, ошеломленная неожиданностью, раздавленная никак непредвиденным обстоятельством, с белым, как ее ночная кофта, лицом и с трясущимися губами вдруг неожиданно опустилась на пол перед Глашей, обхватила девочку руками и завyla на всю девичью.

– Батюшки мои!.. Светы мои!.. Отец Никола Чудотворец!.. Ангелы-Архангелы!.. Сфрафимы-Херувимы!.. Матушка Владычица, Царица Небесная!.. Зарезали меня, без ножа зарезали!.. Куды я денусь теперь с девчонкой, куды я голову с ней приклоню?.. Убили вы меня, убивцы вы безжалостные... Просила я девчонку у себя подержать, – нет, таки прислали горемычную сиротинку сюды... Ну что мне делать с нею сейчас?..

Тут к причитаниям и истеричному вою Стеши неожиданно присоединился плач маленькой Глашки.

– А... – взвизгнула девочка. – Ма-ам-ка, боюсь... Те-тенька, – заревела она благим матом и забилась в руках Стеши.

Все присутствующие бросились к плачущим. Кто успокаивал испуганного ребенка, кто уговаривал убитую горем Стешу.

– Нечего, нечего тебе разливаться слезами, девушка, – ехидно поджимая губы, зашептала Капитоша: – Ведь ты не наша сестра казенная: хоть сейчас отсюда уйти можешь, да место на стороне сыскать. Кто тебя привязал к казне-то.

– Да кто меня с ребенком-то на место возьмет, – взвизгнула сквозь рыдания Стеша, еще больше пугая и так безудержно ревущую девочку. Глаша залилась слезами пуще прежнего.

– Нет, что хочешь делай, Панкратьевна, а Глашку возьми, – спустя минуту решительно заявила Стеша. – Нельзя Глашке в казенном месте быть. Разве можно это? Узнает начальница – сейчас же меня откажет. Возьми: ты ее, Панкратьевна, возьми.

– Что ты? Что ты? Куда я с ней денусь, – в ответ заговорила Панкратьевна. – Ты уж сама как-нибудь устройся.

– Да, ты, Панкратьевна, хоть на время ее возьми. Да я, Господи Ты Боже мой, все свое жалованье на нее отдавать буду, без чая-сахара просижу, только возьми ты к себе, Христа ради, девочку, слышь, Панкратьевна? А? Хоть на время возьми...

Тут Стеша быстро отерла слезы, посмотрела заплаканными глазами в ту сторону, где стояла Панкратьевна, и с легким криком испуга отступила назад.

Там, где находилась за минуту до этого явившаяся к ней землячка, сейчас не было никого. Панкратьевна словно провалилась сквозь землю. Ее нигде не оказалось. Очевидно, пользуясь общей суматохой, женщина исчезла из подвала так тихо и быстро, что никто сразу и не заметил ее исчезновения.

Не успели еще и сама Стеша и остальные девушки придти в себя от изумления, как неожиданно в девичью пулей влетела молодая гардеробная Маша и, испуганно шикая, бросила товаркам:

– Тише, девушки, надсмотрщица идет.

– Господи, этого еще не доставало, – шепотом вырвалось у Стеши.

– Девчонку-то спрячь! Спрячь девчонку куда-нибудь, Христа ради, не то крику будет не обернуться... Со свету нас сживет всех... – засуетились и заметались девушки, старые и молодые, с искренним страхом поглядывая на дверь.

– Глашенька, нишкни, не то тетеньку твою загубишь. Выгонят тетеньку отсюда. Перестань плакать, Глашенька... На сахарцу кусочек, – уговаривала, вся дрожа от волнения, обнимая и целуя мокрое личико Глаши, ее молодая, обезумевшая от страха, тетка.

– Перестань плакать, Глашенька, и я сахарцу дам, – зашептала на ушко малютке подоспевшая Марфа Посадница.

Магическое слово «сахар» сразу возымело свое действие, а извлеченный из глубины чьего-то кармана завалившийся кусок его дополнил впечатление. Неистовый плач Глаши

оборвался сразу; она позволила подхватить себя на руки, быстро сдернуть с нее неуклюжую ватную кацавейку, головной платок, валенки и уложить на кровать в дальнем углу подвала.

Все это было закончено всего в десять-пятнадцать секунд, и когда надсмотрщица над девушками-служанками, она же и бельевая дама, худенькая, маленькая, очень крикливая и придиричивая особа лет пятидесяти, появилась в подвальном дортуаре, – ничего подозрительного или выходящего из рамок повседневности не представилось ее чрезмерно внимательным взорам.

Стеша, улегшаяся вместе с племянницей в кровать, сумела так искусно прикрыть головку девочки, что строгая Дарья Семеновна, «Пиявка», как прозвали надсмотрщицу, не заметила ни малейшего нарушения порядка.

Когда, сделав обычный ночной обход подвального помещения, Пиявка исчезла, Стеша первая вскочила с постели, пробежала пространство, отделяющее ее кровать от кровати Марфы Посадницы, и, рухнув перед ней на колени, залепетала, ломая руки и рыдая навзрыд:

– Агафья Николаевна, заступитесь!.. Спасите!.. На вас вся надежда... Не погубите меня... Ради Господа Бога не откройте то начальству, что мне ребенка подкинули... Ведь выгонят меня отсюда... Со свету сживут... Хоть до воскресенья-то, два денечка бы продержат здесь Глашку... А там я со двора отпрошусь, у знакомых ее где-либо пристрою пока

что... Заступитесь вы только. Не дайте в обиду. А главное, Капитолину Афанасьевну попросите, чтобы она инспектрисе не донесла... Вы все можете. Вас все слушают... Уважают они вас.

Что-то надорванное, поистине горькое и страдальческое было в голосе и рыданиях Стеши. И это надорванное и горькое непосредственно дошло до сердца «Марфы Посадницы», далеко не черствого от природы.

Жаль ли стало Агафьюшке девушку или захотелось ей подчеркнуть лишний раз свое значение у начальства, свою власть над окружающими, но в тот же миг она поднялась с постели, высокая, полная, представительная, с седыми косицами волос, отброшенными за плечи, и заговорила, обращаясь к успевшим уже улечься по постелям девушкам:

– И то правда, милые, грех девчонку на улицу выкидывать. Пушай остается, пока что, покуда ей Степанида угла не найдет у добрых людей. А мы, коли крест на вороту у нас есть, должны покрыть Стешу и в тайности держать девочку, чтобы, упаси Бог, начальство не увидало... Капитоша, это к тебе относится. Воздержись малость, язык за зубами попридержи. Ведь нафискалишь своей барышне – со свету сживет она Стешу, а Стешу сживет – девчонке несдобровать, потому одна у нее тетка кормилица, с голоду без нее помрет девчонка... Впрочем и недолго нам скрытничать-то: в воскресенье пойдет со двора Стеша и уведет девчонку. Только два дня всего. А, Капитоша, помолчишь что ли? Можно понадеять-

ся на тебя? – мягким, несвойственным ей голосом бросила товарке Агафьюшка.

Тонкие губы «шпионки» ехидно сжались. Лицемерно поднялись к небу бесцветные глаза.

– Бог знает что! Срамите меня зря только, Агафья Николаевна. Да видано ли и слыхано ли, чтобы я когда на своих доносила... – обиженно затянула она.

– Ну, положим, и видано и слыхано, – ответила Агафья, – сплетни сводить ты куда как прытка, матушка. А только теперь, ежели пикнешь, так и знай, со свету тебя сживу. Небось сама знаешь, как ее превосходительство генеральша-начальница меня отличает за примерную службу. Так ты мозгами-то и раскинь: выгодно ли али невыгодно тебе со мной ссориться, милая, – уже совсем иным тоном заключила она.

И величавая «Посадница», как ни в чем не бывало, стала укладываться в свою постель.

Прошла к себе, в свой угол и Стеша, несколько успокоенная словами Агафьюшки и, осторожно раздевшись, тихонько улеглась на постель подле малютки-племянницы.

Глаша уже спала. Золотые сны витали вокруг ее вихрастой белобрысой головки. Алый ротик причмокивал и улыбался во сне.

– Спи, дитятко, спи, болезная, спи, сиротка моя, – произнесла шепотом девушка и нежно коснулась сонного личика губами.

Но заснуть Стеша долго не могла в эту ночь. Горькие ду-

мы наполняли ее голову. Как снег на голову, свалились на нее новые заботы, новые неприятности, и бедная девушка напрягала все свои мысли, чтобы найти выход из того тяжелого положения, в которое поставила ее неумолимая судьба.

Глава III

Понедельник. Вечер. В старшем, выпускном классе идет усиленная зубрежка. В последнем классе института царит целый ряд новых забот. Выпускное отделение, это – первое преддверие к жизни. На выпускных институток смотрят уже как на взрослых девушек. И не мудрено: через какие-нибудь семь месяцев они, эти юные девушки, сейчас еще усердно углубляющиеся в историю литературы, катехизис, физику, отечествоведение, геометрию, историю и прочее и прочее, выпорхнут на свободу.

И все-таки некоторые «синявки», классные дамы, не хотят считаться со «взрослыми» барышнями, и продолжают считать их за детей.

Так поступает, по крайней мере, «Скифка», или Августа Христиановна Брунс, немецкая дама.

Лет пятнадцать тому назад приехала она из далекой своей Саксонии в богатую Россию, приехала уже девицей в летах, отчаявшейся выйти замуж, приехала единственно ради заработка и в надежде добиться спокойного угла под старость. Детей она никогда не любила, почти никогда не видела их вблизи, но зато, как «Отче наш», твердо запомнила те несложные требования, которые предъявлял институт к своим классным дамам-педагогичкам: следить за девочками денно и ночью, всячески подавлять в них проявления воли,

сделать из них вполне благовоспитанных барышень, покорных и безответных, как стадо овец, – а для этого муштровать, муштровать и муштровать их с утра до ночи и с ночи до утра, если это возможно.

– Балкашина! – неожиданно вскрикивает и стучит по кафедре ключом от своей комнаты, с которым она не расстается, пока дежурит в классе. – Балкашина, ты, кажется, читаешь, вместо приготовления уроков? Was liest du da? Komm her!¹

С ближайшей скамейки поднимается девушка лет семнадцати, миниатюрная, худенькая, с прозрачно-бледным лицом. Подруги называют ее «Валерьянкой» отчасти потому, что настоящее ее имя Валерия, отчасти потому, что у Вали есть несчастная слабость беспрестанно лечить себя и других.

Балкашина, воистину, помешана на лечении. Она уничтожает невероятное количество валерьяновых, ландышевых и флердоранжевых капель, нюхает соли и спирт, которые носит всегда при себе в граненых флакончиках, глотает магнезию для урегулирования желудка и жует отвратительные леденцы гумми от кашля. Она постоянно кутается, боится холода, сквозняков и мнительна до последней степени.

Сейчас, при оклике Скифки, сконфуженная Валерьянка поднимается со своего места; ее бледное лицо заливается румянцем.

¹ Что ты читаешь? Подойди сюда.

– Was liest du?² – слышится снова неумолимый голос классной дамы.

– Книгу, фрейлейн, – невольно срывается робкий ответ.

– Das ist keine Antwort!³ – бубнит снова с кафедры Скифка.

Ах, Валерьянка и сама понимает, что это далеко не ответ. Но слово сорвалось нечаянно, против воли. Она молчит.

Лицо Скифки багровеет.

– Баян! – кричит она, снова стуча по привычке ключом о доску кафедры и вонзая взоры своих узеньких, как щелочки, но всевидящих глаз в хорошенькую, поэтично растрепанную кудрявую головку девчурки лет шестнадцати, которой по наружности с успехом можно дать всего лишь тринадцать лет, – Баян, посмотри, какую книгу читала твоя соседка. Und sage mir sofort!⁴

Ника Баян – самая отъявленная шалунья и общая любимица не только всего класса, но и целого института; ее поклонницам нет счета и числа. Помимо обворожительного точеного личика с самым жизнерадостным, выражением, так и брызжущим из ее карих глаз, помимо заразительного смеха, звенящего как колокольчик, Ника обладает способностью поднять своей веселостью и мертвых из гроба, рассмешить самых уравновешенных своими шутками, проказами, сво-

² Что ты читаешь?

³ Это не ответ.

⁴ И скажи мне сейчас.

им неистощимым запасом тонкого остроумия. Учится она неровно: то из рук вон плохо, то сбивает с места лучших учениц. Есть у нее еще удивительная способность, восхищающая весь институт. Прозвища у Ники нет; весь институт поголовно зовет ее по имени. Зато классные дамы, которым немало насолила за семь лет своего пребывания в институте Ника, – сами прозвали девочку «Буянкой», переиначив ее поэтическую фамилию, отдающую древней русской сказочной стариной.

Вот она встает, как будто полная готовности услужить Скифке. Встает с яркой улыбкой, зажегшейся внезапно в карих глазках, и быстро бросает взгляд на лежащую перед ее соседкой по парте, Балкашиной, книгу. И тотчас веселая улыбка сменяется плутоватой, а карие глазки, полные юмора, прячутся под сенью черных ресниц.

– О! – громко шепчет Ника, – О! Я не могу сказать, что это за книга, фрейлейн Брунс... Это... Это... Неприличная книга... Совсем неприличная...

Класс фыркает. Институтки в восторге, предвидя новую затею Ники.

– Что?

Жгучее любопытство и, торжество отражаются на лице Скифки. Ее голос дрожит от нетерпения, когда она выговаривает вслед за тем:

– Wie so?⁵ Неприличная? Но как же она смеет...

⁵ Как так?

Теперь ее взгляд буквально простреливает насквозь бедную Валерьянку, режет ее без ножа; глаза прыгают; ключ ба- рабанит по кафедре.

– Почему неприличная? – взывает Скифка, повышая голос.

– Но... Но... Там... Там изображен совсем раздетый человек... И даже без мяса, – дрожа от смеха, лепечет Баян.

– Без мяса? О, это уж слишком.

Скифка бурей срывается со своего места и несется к злополучной парте.

На парте перед Валерьянкой лежит книга; на раскрытой странице изображен человек, вернее, скелет. Действительно, «человек без мяса», как говорила Ника; но книга не неприличная, а медицинская – краткий курс анатомии, только и всего.

Скифка смущается на мгновение. Потом стучит уже по адресу Вали о парту неумолимым ключом.

– Как ты смеешь читать такие книги! – сердито замечает Балкашиной Скифка.

Балкашина делает гримасу и подносит бескровные руки к вискам.

– У меня болел бок... – говорит она с вымученной улыбкой.

– Но ты держишься за голову.

– Теперь заболела голова...

– Это не относится к неприличной книге...

Валя опускает руку в карман, вынимает оттуда пузырек с английской солью и нюхает его с видом мученицы.

– У меня болел бок. – подтверждает она упрямо, в то время как несколько десятков воспитанниц сдержанно фыркают в платки, – и я хотела справиться в анатомическом атласе, которое ребро у меня болит. Я взяла с этой целью медицинскую книгу; в ней нет ничего неприличного... Мы по ней проходили строение человеческого тела, анатомию... Ах, Боже мой, вы напрасно только меня расстроили. Я должна опять принимать капли. Мои нервы расстроены; я больше не могу...

Глаза Валерьянки наполняются мгновенно слезами, и с видом оскорбленной невинности она ныряет головой под крышку пюпитра. Там скрипит пробка в пузырьке, булькает вода, имеющаяся всегда наготове в классном ящике Вали. Она отсчитывает с сосредоточенным видом капли в рюмку, и через минуту противный, властно заявляющий о себе запах валерьяновых капель острой струей разносится по всему классу.

– Mesdames, Валерьянка снова наглоталась валерьянки, – шепчутся с подавленным смехом воспитанницы.

В это время перед Никой Баян на ее пюпитр падает бумажка, свернутая корабликом.

«Пойдем в клуб жарить сухари», – значит в записке всего одна строчка, набросанная корявыми буквами вкривь и вкось.

Ника быстро оборачивается.

На задней парте сидят четверо. С краю – черноглазая, пылкая и несдержанная армянка Тамара Тер-Дуярова, впрочем более известная под фамилией «Шарадзе», данной ей институтками за ее ничем непреодолимую слабость задавать шарады и загадки. Настоящее дитя Востока, не в меру наивная, не в меру ленивая и вспыльчивая особа лет восемнадцати, с некрасивым длинноносым профилем, похожим на клюв хищной птицы, но с прекрасными пламенными глазами, настоящими очами Востока, она имеет огромное достоинство: удивительное рыцарское благородство и непогрешимость в делах чести, за которое се любях весь класс. Тамара никому еще не солгала и, не сказала неправды.

Подле нее сидит высокая белокурая «Невеста Надсона», семнадцатилетняя Наташа Браун обожающая талантливого поэта, при всяком удобном и неудобном случае цитирующая на память его стихи, которые она знает все до единого. В пюпитре же имеется копилка с ключом; в копилке – медные деньги. Их собирает давно Наташа на памятник поэту, который мечтает выстроить у себя в имении. На руке ее выгравированы булавками и затерты черным порошком заветные инициалы «С. Н» (Семен Надсон). На груди она носит медальон с портретом поэта. Кроме того, целая коллекция портретов Надсона у нее в классном ящике и в ночном шкафчике в дортуаре.

Рядом с Браун сидит «донна Севилья», или «кажущаяся

испанка». Когда Ольге Галкиной было тринадцать лет, родители ее взяли девочку в Испанию, куда отцу Ольги было дано какое-то дипломатическое поручение в русское консульство. Галкины прожили в Севилье всего три дня, но с тех пор Ольга не перестает бредить севильскими башнями, свидетельницами далеких веков, дивной, полной блеска, природой, боем быков и испанскими серенадами. Белобрысая, некрасивая, светлоглазая, с маленьким ртом, Ольга скорее похожа на финку, нежели на испанку, и прозвище «донны Севильи», данное ей подругами, менее всего подходит к ней.

Рядом с «кажущейся испанкой» сидит «Хризантема». Это – высокая русоволосая девушка с осиной талией, обожающая цветы, преимущественно хризантемы и розы. Она засушивает их в книгах, зарисовывает в альбомы, всегда имеет один цветок хризантемы в пюпитре, другой на ночном столике в дортуаре. Все свои карманные деньги Муся Сокольская употребляет на покупку цветов, преимущественно хризантем.

Все четверо кивают Нике. Это значит, что записка прилетела от них.

Ника быстро вынимает из кармана носовой платок, прикладывает его к губам и, делая страдальческое лицо, подходит к кафедре.

– Фрейлейн Брунс, меня тошнит... Позвольте мне выйти из класса.

– Sprehen deutsch!⁶ – сердито роняет Скифка невозмутим-

⁶ Говорите по-немецки!

мым голосом, но при этом строго и подозрительно поглядывает на шалунью.

Ника Баян с покорным видом невинной жертвы переводит фразу на немецкий язык.

– *Gehen sie, aber kommen sie schnell zureck,*⁷ – милостиво разрешает Августа Христиановна.

Ника тенью скользит из класса. У дверей она приостанавливается и, повернувшись спиной к классной даме, делает «умное» лицо по адресу класса. Мимика девушки богата выражением. Комический талант Ники известен всему классу. И весь класс, глядя на «умное» Никино лицо, дружно, неудержимо прыскает со смеху.

– Баян! – строго окликает девушку Скифки, – опять клоунство, шутовство! Здесь не цирк и не балаганы!

Ключ стучит по доске кафедры, Лицо немки, обычно густорозового цвета, теперь красно, как пион.

Но Ника ее не слышит. Она уже в коридоре... На лестнице... Быстро пробегает она по частым ступенькам и птицей взлетает в третий этаж. Вот и дверь «клуба» – комнаты, имеющей исключительное назначение и отнюдь не похожей на клуб. Единственная лампочка светит тускло. В углу ярко пылает печь. Ника быстро распахивает ее железную дверцу и несколько минут смотрит на огонь, присев на корточки. Потом вынимает из кармана тонкие ломтики черного хлеба, густо посыпанное солью, и осторожно кладет их на «пороге»

⁷ Идите, но возвращайтесь скорее назад.

печной дверцы.

Черные, собственноручно подсушенные сухари – любимое лакомство институток. За это подсушивание хлеба начальство жестоко преследует институток. Но запретный плод особенно вкусен, и никакие наказания не могут отучить девочек от соблазнительного занятия.

Ника так увлеклась своим делом, что не заметила, как с имеющегося в «клубе» окна, с его широкого подоконника, соскакивают две девушки. Одна из них довольно полная, с матовым цветом лица, задумчивыми черными глазами и пышными черными волосами. Другая повыше; она тонка и стройна; своеобразно и энергично ее смуглое лицо, похожее на лицо цыганенка. Курчавая шапка коротких волос дополняет сходство с мальчуганом-цыганом. Только большие черные глаза нарушают это сходство своим строгим, смелым выражением, вместе с гордыми энергичными бровями, почти сросшимися на переносице, и шаловливой усмешкой неправильного, детски капризного рта.

Не замеченные Никой, обе девушки тихонько подкрадываются к ней сзади, и вмиг тонкие руки «мальчугана» крепко, ладонями вниз, закрывают ей глаза.

– Ага! Попалась! Будешь сухари в печке сушить! – деланным басом говорит «цыганенок», в то время как ее подруга беззвучно смеется, оставаясь в стороне.

– Ах! – скорее изумленная, нежели испуганная, роняет со смехом Ника.

– Берегись, о, несчастная! Горе тебе! Ты заслуживаешь жесточайшей кары! – басит над ней смуглянка.

– Ха ха, ха! Угадала! Угадала! Это Алеко! Алеко! – вдруг раздражается громким хохотом Ника и бьет в ладоши.

Смуглые руки вмиг выпускают ее глаза.

«Алеко» и есть. «Земфира» и «Алеко». Двое героев Пушкинской поэмы «Цыганы»: Мари Веселовская, с ее глазами и лицом цыганки, и Шура Чернова – два попугайчика из породы «inseparables»,⁸ дружат уже с младших классов и не расстаются ни на минуту. Хотя Алеко, герой «Цыган» Пушкина, и не цыган вовсе, а русский, попавший в табор, но тем не менее, Шуру Чернову, похожую на цыганенка-мальчика, прозвали этим именем, а Мари Веселовскую – «Земфирой». Они вместе готовят уроки, вдвоем гуляют в часы рекреации, вместе читают книги. Их парты рядом. Они соседки и по столовой, и по классу, и по дортуару. Они обе ревнивы, как истинные дети юга. И ни та, ни другая не смеет дружить с остальными подругами по классу.

Сейчас обе они явились в «клуб», чтобы прочесть новую интересную книгу.

– Ага, цыгане, вот они чем занимаются! Как вам удалось вырваться из класса? – улыбаясь всеми ямочками своего розового лица, роняет Ника.

Жар печки горячим румянцем обжег щеки Нике; ее карие плутоватые глазки заискрились какими-то шаловливыми ис-

⁸ Неразлучников.

корками.

– А вот... – начала своим низким грудным голосом Земира и оборвалась в тот же миг.

Неожиданно шумом, смехом и суетой наполнился «клуб». Как вихрь, ворвались под его гостеприимную сень пять новых проказниц: неуклюжая, необыкновенно крупная Шарадзе; за ней высокая и изящная «невеста Надсона»; гибкая, тоненькая и нежная, сама похожая на цветок, Хризантема; донна Севилья, с ее восторженным лицом и рассеянными, блуждающими белесоватыми глазами, и подруга Муси Сокольской, «Золотая рыбка», или Лида Тольская, маленькая и шатенка с прозрачными веселыми серыми глазами и, стеклянным голоском.

Если у Муси Сокольской слабость – цветы, преимущественно хризантемы, то у Лиды Тольской совсем иная слабость: она обожает рыб. Как дома, так и здесь, в институте, в ночном шкафчике в дортуаре, у нее имеется крошечный аквариум, который она получила от своего брата в день ее рождения. С аквариумом большая возня: надо менять каждый день и воду, чистить его, кормить четырех золотых рыбок и двух тритонов, имеющих в нем. Надо скрывать существование аквариума от Скифки и другой, французской, классной дамы, от инспектрисы и прочего начальства. Делу содержания аквариума Лида Тольская отдается с восторгом. Золотые рыбки и тритоны, это – ее сокровище, ее богатство. И сама она похожа на рыбку с ее холодными глазами, спокой-

ными движениями и стеклянным голоском. «Золотой рыбкой» и прозвали ее подруги.

– Сухари! Сухари! Душки сухари! Прелесть сухарь! – запела армянка, подскакивая к печи и выхватывая оттуда горячий, как огонь, обгорелый чуть не до степени угля кусочек хлеба, и тут же отдернула руку.

– Ай, жжется! – взвизгнула она на весь «клуб» и закружилась по комнате, дуя себе на пальцы.

– Как вы удрали от Скифки? Вот молодцы! – весело воскликнула Ника.

– Меня затошнило, как и тебя, – смеясь, говорит донна Севилья; – им – (она мотнула головой на Хризантему и Золотую рыбку), – как водится, захотелось пить; у нашей Шарадзе спустился чулок, потому что лопнула подвязка, – как видишь, причины уважительные, не правда ли?

– А «невеста Надсона» как?

– А «невесту Надсона» увлек призрак жениха, – засмеялась Шарадзе – и она, проходя мимо Скифки, стада невидимой, как призрак или мечта.

– Глупые шутки, – презрительно произнесла белокурая Наташа и задумчиво продекламировала вполголоса:

Я не Тому молюсь, Кого едва дерзает
Назвать душа моя, смущаясь и дивясь,
И перед Кем мой ум бессильно замолкает.⁹

⁹ Стихотворение С. Надсона.

– А разве у тебя есть ум? А я и не знала, – невинно роняет подоспевшая Тамара Тер-Дуярова.

– Шарадзе, не воображаете ли вы, что вы умны? – вступается Золотая рыбка.

– А то глупа? Кто умнее – ты или я? Это еще вопрос, – неожиданно вспыхивает Шарадзе. – Кабы умна была, шарады да загадки решала бы, а то самой пустячной из них, душа моя, не умеешь решить, несмотря на все старания.

– Задай, мы все решим сообща, – примиряющим тоном предлагает Ника.

– То-то, решим... – ворчит Шарадзе, забавно двигая длинным носом. – Вот тебе, решай, коли так: «Утром ходит в лаптях, в полдень в туфлях, вечером в башмаках, а ночью в облаках». – Что это?

Общее молчание водворяется на мгновение в «клубе».

– Что это? – возвышая голос, повторяет Шарадзе и победоносным и торжествующим взглядом обводит подруг.

Те молчат. «Донна Севилья» копошится у печки, аккуратно раскладывая у самой дверцы ее принесенные сюда свои и чужие ломтики черного хлеба, предназначенного на сухари. У остальных озадаченные, напряженные лица.

– Не знаете? Не угадываете? Ага! Я так и знала, – торжествует Шарадзе и быстро поворачивается к Нике:

– Ты, душа моя, самая умная, и не можешь решить?

– Благодарю за лестное мнение, синьорина, – отвечает Ни-

ка, отвешивая насмешливый реверанс и делая «умное лицо», глядя на которое все присутствующие неудержимо хохочут.

– Ага! – торжествует Шарадзе. – Значит, не доросли. Это, душа моя, не шутка – загадку решить.

– Ну, да ладно уж, ладно, не ломайся, говори что это, – нетерпеливо требует Алеко.

Шарадзе еще молчит с минуту. Новый торжествующий, полный значения взгляд, и она неожиданно выпаливает с апломбом:

– Это – месяц. Месяц небесный, душа моя, только и всего.

Эффект получается неожиданный. Даже все подмечающая Ника и насмешница Алеко Чернова забывают напомнить Тамаре о том, что земного месяца до сей поры еще не видали, – и они поражены, как и остальные, неистощимой фантазией Шарадзе. Наконец, Хризантема первая обретает способность говорить:

– Месяц? Как странно! Но послушай, Шарадзе, как же в лаптях и башмаках? Месяц, и в лаптях... Странно что-то.

– А по-твоему, душа моя, он должен босиком ходить, что ли? – набрасывается на нее армянка.

– Я... Я не знаю... – роняет смущенная Муся.

– И я не знаю, душа моя. В том-то и дело, что ни я, ни ты, и никто, душа моя, не знает, как он ходит: в лаптях, босой или в башмаках; а знали бы, так никакой загадки и не было бы, – с тем же победоносным взглядом заключает Тамара.

Ника Баян при этом неожиданном выводе раздражается

неудержимым смехом. Хохочут и все остальные.

– Нет, она обворожительно наивна, наша Тamarочка, – шепчет Алеко, покатываясь на весь «клуб».

– Ха, ха, ха! – звенит своим стеклянным голоском Золотая рыбка.

Даже бледная, всегда задумчивая «невеста Надсона» не может удержаться от улыбки. Неудержимое веселье захватывает всех находящихся в «клубе» девушек.

– Хи, хи, хи! Ха, ха, ха! – то и дело, вспыхивает здесь и там.

В самый разгар необузданного гомерического хохота на пороге вырастает угловатая, нескладная фигура первоклассницы Зины Алферовой. Зину называют «дорогая моя» за ее постоянную привычку прибавлять эти два слова чуть ли не к каждой фразе, кстати и не кстати.

– Mesdam'очки, тише, дорогие мои, тише, – лепечет Зина с перекошенным от страха лицом. – Дорогие мои... На черной лестнице лежит кто-то... Лежит и рыдает... наткнулась... Ах, Господи, дорогие мои, это так страшно, страшно...

И руки Зины поднимаются к бледному лицу, и сама Алферова, прислонившись к косяку двери, готовится заплакать горькими слезами.

Глава IV

Недавнего смеха как не бывало; мгновенно исчезла неподкупная юная радость.

Первая приходит в себя Ника. Темные глазки Баян, еще за минуту до этого полные юмора и смеха, сейчас отражают неожиданное волнение, тревогу. Она бросается к Алферовой, трясет ее за руку и довольно громко кричит, сама не замечая своего крика:

– Где рыдает? Кто? Ты видела? На лестнице? Где?

– Дорогая моя, в «чертовом гроте»... – может только беспомощно простонать ей в ответ Зина.

Ника Баян, выслушав этот ответ, быстро поворачивается к подругам.

– Хризантема, собери сухари, когда они будут готовы, – говорит она тоном, не допускающим возражений. – А ты, Золотая рыбка, беги в класс и займи чем-нибудь Скифку, чтобы она не заметила нашего отсутствия. Все остальные, за мной!

Никому и в голову не приходит обижаться сейчас на повелительный тон Ники, и беспорядочной толпой девушки спешат из «клуба» на черную лестницу.

Здесь, на третьем этаже верхняя, самая последняя чердачная площадка, прозванная институтками «чертовым гротом», тонет во мраке. Несколько ступенек ведут от нее на

чердак, к его наглухо запертой двери.

Это место недаром носит название «чертова грота». Отсюда, если верить давнишней институтской легенде, бросилась вниз с высоты третьего этажа в пролет лестницы одна из воспитанниц старшего класса, внезапно захворавшая душевным расстройством, и призрак ее в лунные ночи будто появлялся в окне «чертова грота» и пугал трусливых институток.

Не без тайного страха поэтому вся небольшая группа вышла на темную лестницу, едва освещенную двумя лампочками, и, сбившись в кучку, замерла в молчании. Сумрачно, ни шороха, ни звука... Сбились в тесную группу девушки... Слушают и ждут.

На верхних ступенях лестницы что-то, действительно, лежало, что-то большое и таинственное. Оттуда же слышатся заглушенные не то рыдания, не то стоны.

Испуганные девушки со страхом прислушиваются к ним.

– Mesdam'очки, да что же это! – с тоской вырвалось из груди донны Севильи.

– Молчи, душа моя, молчи! – зашипела на нее Шарадзе, это «она» плачет.

– Кто «она»?.. Шарадзе, не смей пугать, взвизгнула не своим голосом Зина Алферова, приседая на пол со страху.

– Ну, не «она», так «он», дух погибшей институтки, бросившейся с лестницы триста лет тому назад, – невозмутимо пояснила Тамара.

– Боже, какая она наивная, эта Шарадзе! Триста лет тому назад здесь не было ни института, ни города... Здесь были одни болота... – прошептала Алеко.

– На лестнице болота? Как это?

Черные, наивные глаза, единственное, но неоспоримое сокровище лица армянки, вмиг загораются любопытством.

Но ей никто не отвечает.

– Mesdames, рыдания прекратились... Фигура шевелится... И я иду узнать, кто это такой... – заявляет Ника и прежде, нежели ее могут удержать подруги, уже стоит на лестнице, в самом сердце «чертова грота», на ступеньках, ведущих на чердак.

Выплывает, на счастье, луна и появляется в маленьком окошке, приходящемся в уровень с площадкой лестницы. Она заливает своим млечным светом и лестницу с ее темными ступенями и низенькую дверь, ведущую на чердак, и темную фигуру, лежащую на полу.

Тихие всхлипывания доносятся теперь до Ники и до замерших в тоске ожидания воспитанниц. И вдруг темная фигура зашевелилась, отбросила платок, прикрывавший ее голову и часть туловища, и медленно поднялась на ноги.

– Это Стеша! – неожиданно вырвалось у Ники. – Mesdames, не бойтесь, это коридорная Стеша, – чуть повысив голос, звонким шепотом бросает она подругам.

Какое разочарование! Увы! – только «бельевая» Стеша! А как приятно было заблуждаться! Как приятно волнова-

ла мысль, что здесь происходит что-то сверхъестественное, необычайное, от чего закипает мысль и по телу пробегает холодная дрожь! Луна... «Чертов грот», черная лестница... Рыдания... И вдруг – Стеша! Удивительно прозаическое явление!

Однако, Стеша плачет, а раз плачет, то надо ее утешить. Юные, чуткие сердечки очень чувствительные к чужому горю. Через минуту вся группа «жаждущих приключений» уже наверху. На тесной маленькой площадке перед чердачным помещением они окружают Стешу. При свете луны всем хорошо видно ее пухлое лицо, залитое слезами, покрасневший кончик вздернутого носа и припухшие от слез губы.

– Что с вами? О чем вы плакали, Стеша? Кто вас обидел?.. Неужели опять Пиявка? – слышатся полные участия и заботы голоса.

Но вместо ответа, Стеша снова раздражается рыданиями. Она так сильно плачет, что ее сильные плечи дрожат, и все ее крепко сложенное тело трепещет, как былинка под напором бури.

– Воды, mesdames! Принесите стакан воды! – командует Алеко.

Возвратившаяся из класса «Золотая рыбка» мчится за водой по направлению дортуара и умывальной, находящихся здесь же, в третьем этаже. Когда она возвращается с наполненной до краев кружкой, Стеша, окруженная институтками и подкупленная общим участием к ее горю, роняет сквозь

всхлипывания и слезы:

– Барышни, не выдайте... Миленькие, не погубите. Узнает Пиявка – со свету сживет... Горе у меня, барышни, миленькие... Дочурку сестры покойной из деревни привезли и мне подкинули... Девчонке пяти годков еще нет... Сиротка она... Вчера я ходила по знакомым, просила Христом Богом взять, приютить у них ребенка. Куда уж! Видно, все друзья лишь до черного дня: и слышать не хотят взять в дом девчонку... А в подвале в девичьей у себя нешто можно держать? Надсмотрщица, то и дело, шмыгает... Капитошка, шпионка эта, того и гляди, инспектрисе донесет, пожалуется... А куда мне Глашку девать? На улицу, что ли, выбросить?.. Ведь обманом мне ее оставила знакомая одна, землячка моя: пришла, подкинула и сама скрылась.

– Ах, как необыкновенно все это! Точно в сказке! – зашептали кругом восторженные голоса.

– Хороша сказка, нечего сказать! Выгонят на улицу Стешу с девочкой, вот вам, будет сказка.

Кто сказал это? Чьи глаза сверкнули таким негодованием, мельком обежав лица подруг?

Это Ника Баян. Неожиданно, положив маленькую ручку на плечо Стеши, снова залившейся слезами, она заговорила со свойственной ей пылкостью;

– Стеша милая, утрите ваши слезы... Перестаньте плакать. Девочка – не вещь какая-нибудь. Ее нельзя выкинуть за дверь. Послушайте, я придумаю что-нибудь... Мы посо-

ветуемся с классом, а потом решим. Но только покажите нам девочку... Приведите ее сегодня ночью в дортуар в одиннадцать часов... Слышите, приведите! Мы все так любим детей и займемся ее судьбой... Бедная детка... Для нее необходимо что-нибудь придумать. Ее надо приютить у ко го-ни-будь из наших родных... Мы попросим, мы устроим. Только дайте подумать... Так сразу нельзя... Да не плачьте же вы, ради Бога. Ваше дело далеко не потеряно, уверяю вас.

И тонкие пальчики Ники бегло погладили белобрысую Стешину голову.

Стеша упала к ногам Баян и обняла ее колени.

– Барышня... Ангел наш... Золотенькая... Не знаю уж, как и благодарить... Век не забуду участия вашего... – зашептала она, лоя и целуя руки Ники...

Та, вспыхнув до ушей, проворно отдернула пальцы.

– Как вам не стыдно, Стеша. В ногах валяетесь, руки целуете! Срам какой! Терпеть этого не могу, – сердито проговорила Ника и, видя смущение проворно поднявшейся на ноги девушки, добавила чрез мгновение уже более милостивым тоном:

– Теперь ступайте к «ней», Стеша, а вечером, когда фрейлейн Брунс уйдет к себе, тайком приведите к нам вашу малютку племянницу... Нашей дортуарной прислуги не бойтесь, мы уговорим Ньюшу, и она не выдаст нас... А пока до свиданья. Помните, ждем ровно в одиннадцать часов... Идем, mesdames, в класс. До звонка к чаю осталось немно-

го, – обратилась Ника к подругам.

И вся гурьба девочек с присоединившейся к ним Хризантемой, успевшей за это время нажарить едва ли не целый фунт сухарей, помчалась вниз, на второй этаж, где находились классы.

Там оставалось все по-прежнему за это время. Августа Христиановна Брунс сидела на своем обычном месте за столом кафедры и вязала крючком бесконечное вязанье. Класс готовил уроки. Некоторые читали «под сурдинку», иные писали письма родным или тихо переговаривались между собой. Возвращение в класс «кучкой», как это называлось на институтском языке, было немыслимо. Тогда Алеко, она же Шура Чернова, не менее отчаянная, нежели Баян, первая вошла в класс. Остальные оставались в коридоре за колоннами. Шура приблизилась к кафедре и произнесла с самым невинным видом:

– Фрейлейн, какая-то дама встретила меня в нижнем коридоре, когда я шла из лазарета, и просила вызвать вас.

Лицо Скифки вспыхивает от неожиданности. Даже ее клюквообразный носик покраснел. У нее почти нет знакомых. Ее редко вызывает кто-нибудь. Это известие так неожиданно, что мгновенно вытесняет все прочие мысли из головы Августы Христиановны. Она забывает даже сделать Черновой замечание за самовольную отлучку из класса. Лицо, похожее своим цветом на спелый помидор пылает. Маленькие глазки так и искрятся любопытством.

– Дама, ты говоришь? Меня спрашивает дама в нижнем коридоре?

– Дема в черном платье и в шляпе с серым пером, – неудержимо фантазирует черненький Алеко.

– Высокая? Маленького роста?

– Повыше меня и пониже вас.

– Странно, – произносит, волнуясь, Скифка, срывается с кафедры и исчезает за дверью.

Этого только и надо черненькому Алеко. Спустя минуту, Шура выскакивает следом за Скифкой и стоя посреди коридора, машет платком. В тот же миг из-за колонн выскакивают любительницы подсушивания сухарей и влетают в классные двери. Еще миг, и Ника Баян на кафедре. Ее кудри трепещут; ее глаза искрятся и горят, как звезды, когда высоким звонким голоском она звенит на весь класс:

– Mesdames, новость! К коридорной Стеше принесли ребеночка в девичью... пятилетнюю племянницу из деревни... Девочку не позволят держать здесь... Надо придумать что-нибудь... Надо помочь Стеше... Бедняжка плачет... Рекой разливается... Денег нет, крова нет...

– И кюшать нечего, – с искренним отчаянием добавляет Тамара, которая в минуту особенного душевного волнения произносит слова с акцентом к немалому смеху подруг. Но сейчас это никому не смешно, никто не смеется.

– Молчи! Молчи! – дружно шикают на нее со всех сторон одноклассницы.

– Чего молчи, когда кюшать нужно, – волнуется армянка, сверкая восточными глазами.

– Mesdames, – продолжает громко Ника и стучит по столу забытым Скифкой ключом, – Стеша приведет девочку нынче ровно в одиннадцать часов в дортуар, постараемся улечься «без бенефисов» сегодня. Пускай Скифка уползает скорее в свою конуру. Не правда ли, господа?

– Конечно, конечно... Бедная девочка!.. Как жаль, если не удастся ее пристроить!..

– Как не удастся. Должно удастся.

– И устроим! И сделаем!

– Вне всякого сомнения!

– Разумеется!

– Понятно!

Ключ снова стучит по кафедре. Крики крепнут, растут...

Неожиданно раздается звонок, призывающий к чаю и к вечерней молитве. Вслед за тем в класс как-то боком вползает Скифка. Лицо ее багрово пылает. Глаза прыгают и мечутся в узеньких щелках век.

– Чернова! – звучит ее трескучий голос зловеще. – Komm her!¹⁰

Черненький Алеко выступает вперед.

– Стыдно так обманывать свою наставницу, позор! Где ты видела даму с серым пером и в черном платье?

Шуру Чернову душит смех и, лукаво опустив черные рес-

¹⁰ Подойди сюда!

ницы, она шепчет к полному изумлению классной дамы:

– На картинке.

– Wie so?¹¹

Скифка так озадачена, что теряет способность задать более подробный вопрос шалунье.

– Фрейлейн, – смиренным голосом подхватывает Шура, – клянусь вам, я видела такую даму на картинке... Она мне показалась на вас похожей: те же глаза, те же волосы, нос...

– Словом, душка! – подхватывает шепотом Ника, дрожа от смеха.

– И с тех пор она мне является всюду: и в коридоре, и в классе... И сейчас, когда я возвращалась из лазарета, мне почудилось ясно, что она подошла ко мне и сказала: «Вызовите фрейлейн Брунс из выпускного класса».

Голос черненького «Алеко» полон подкупающих интонаций. Смирением веет от смуглого «разбойничьего», как его называют классные дамы, лица.

Но «Скифку» провести трудно. Она бросает в сторону Черновой убийственный взгляд, щурит и без того узенькие глазки-щелки и говорит:

– Bitte, nur keine Grimassen!¹² А чтобы тебе не «казалось» больше, я сбавила два балла за поведение. Поняла?

– Поняла... – покорно стонет Шура в то время, как Ника делает ей умное лицо.

¹¹ Как так?

¹² Пожалуйста, без гримас!

– В пары становитесь, в пары! – внезапно раздражается Скифка и, по обыкновению, стучит ключом по столу.

В одно мгновение воспитанницы становятся подвох и длинной вереницей выходят из класса.

– Не шаркать подошвами! Поднимать ноги! – снова кричит «Скифка».

Зеленая вереница девушек смиренно и стройно спускается вниз.

В длинной, продолговатой комнате столы, столы и столы; целые ряды столов, и за ними на жестких скамейках без спинок около трех сотен зелено-белых девушек, одинаково одетых в тугие, крепкие камлотовые платья, напоминающие своим цветом болотных лягушек, и в белых передниках, пелеринках и привязанных рукавчиках, именуемых а институтском языке «манжами». Подается ужин, состоящий из горячего блюда, затем чай с булкой. После ужина – вечерняя молитва. Дежурная по классу читает длинный ряд молитвословий и псалмов. «Отче наш» и «Верую» певчие повторяют хором. Евангелие читает Капочка Малиновская, «Камилавка», как ее дружно окрестили воспитанницы выпускного и других классов. Капочка – дочь учителя. Это – удивительная девушка. Она молитвенница и постница, каких мало. Религиозная, читающая одни только священные книги и иногда, в виде исключения, произведения классиков, знакомство с которыми необходимо в старших классах. Она самым чистосердечным образом считает ересь и грехом все то, что

не отвечает требованиям религии. Худенькая, нескладная, с некрасивым веснушчатым лицом и утиным носом, девушка эта как-то странно изменяется, становится почти прекрасной в те минуты, когда читает псалтирь на амвоне скромной институтской церкви. Дьячка в институте не полагается, и обязанности его несет та или другая воспитанница, она же читает и Евангелие на утренней и вечерней молитвах. Обыкновенно роль дьячка исполняет Капочка. Тогда голос девушки крепнет и растет, выделяя в то же время какие-то удивительные бархатные ноты. Слова она произносит с захватывающим выражением, и из суровых, недетских и даже как будто немолодых глаз исходят лучи. Капа в душе своей затаила мечту несбыточную, дерзкую, но красивую: она мечтает проповедовать Евангелие среди оставшихся в обширном мире язычников-дикарей и пострадать за Христа, как страдали когда-то древние мученицы христианства.

Ее раздражает всегда одна и та же мысль: зачем женщины не могут быть священниками. О, с каким восторгом она вступила бы на этот путь, отрекшись, как монахиня, от светского мира. Увы, мечта так и остается мечтой!

Но вот смолкает бархатный голос Капочки. Выпускные пропели хором «Спаси Господи люди Твоя», и снова ряды воспитанниц стройными шеренгами движутся по лестнице, коридору и расплываются в разные стороны, каждое отделение в свой дортуар.

Глава V

Как-то странно бесшумно улеглись сегодня выпускные воспитанницы по своим постелям. Не только «образцовые» (*лучшие по институтскому определению*), но и «отпетые» (*худшие*) не проронили сегодня ни одного громкого слова ни в дортуаре, ни в умывальной, прилегающей к спаль-ной комнате. Только Эля Федорова, самым искренним образом считающая себя «большим голосом» и талантом, но фальшивившая на каждой ноте, запела, добросовестно натирая себе руки кольдкремом, свою любимую и вечно повторяемую «Гайда, тройка... снег пушистый...». Но на нее тот-час же дружно зашикали со всех сторон и замахали руками:

– Что ты, с ума сошла? Не раздражай Скифку... Вспомни, какая сегодня ночь...

Тер-Дуярова, подкравшись к постели Ники Баян шепнула:

– Ну что, душа моя, пойдем мы нынче в «Долину вздо-хов»? Княжна и Мара ждут вас там наверное.

– Ах, до княжны ли нынче, Шарадзе, – засмеялась Ника, вспыхивая и краснея до ушей.

– Ну, вот еще, а я, как нарочно, новую загадку вспомни-ла... Хотела Маре нести... Теперь не придется, – вздыхает армянка.

– Хорошо, нам загадаешь, – снисходительно разрешила Ника и, немного повысив голос, бросила обращаясь ко всем

Остальным.

– Medames! Приготовьтесь: Шарадзе новую шараду сейчас задаст.

Мгновенно все становятся около постели Ники, на краю которой торжественно устраивается Тамара, заранее смакующая прелесть своей шарады. Пылающими глазами она обводит сомкнувшихся вокруг нее круг одноклассниц.

– Что это, душа моя, скажи: менее восьми, больше шести, ходит туда, сюда... Очень прилично...

В слове «прилично» Тамара произносит «и», как «ы», как всегда, когда немного волнуется. Кто-то фыркает.

– Medames, наша Шарадзе, душа моя, в математику пустилась. Так цифрами и сеет! – хохочет Ника.

– А ты не смейся, а скажи! Смеяться каждый может, а решить не каждый может, – с апломбом говорит армянка.

– Глупость какая-то, – решает Золотая рыбка и смеется своим стеклянным смешком.

– Сама-то ты глупость. И твой аквариум глупость, – неожиданно вспыхивает Тамара. – А это, что задала я вам, не глупость, а...? Не угадываете? Так вот вам – трамвай.

– Как трамвай? Почему трамвай – звучат удивленные возгласы.

– Ну да, трамвай N 7, душа моя. Ведь по-русски говорила: поменьше восьми, побольше шести, ходит туда-сюда. Очень прилично. Трамвай N 7 и есть.

– Ха! Ха! Ха!

Все хохочут неудержимо, все, кроме Камилавки, которая считает и смех ересью, грехом.

– Medames, тише. «Скифка» из конуры своей выползет сейчас.

Действительно, легкая на помине Августа Христиановна стоит на пороге своей комнаты, хлопает в ладоши и кричит:

– Schlafen, Kinder, schlafen!¹³

В один миг все разбегаются по своим постелям. Дежурная щелкает выключателем, и лампочки гаснут, за исключением одной. Дортуар сразу погружается в приятную для глаз полутьму. Теперь фрейлейн Брунс тенью скользит по «промежуткам», то есть по дорожкам-интервалам, образовавшимся между тремя рядами кроватей.

– Сегодня улеглись без шума. Слава Богу! – говорит сама себе Скифка, заранее мечтающая о теплой постели и завтрашнем свободном от дежурства дне.

Только что-то чересчур уж долго молится Малиновская, стоя на коленях в своем «переулке», и подозрительно шепчется влюбленная парочка – Чернова и Веселовская, – не замышляют ли чего-нибудь на ее счет? От этой Черновой, как и от Баян, всего ожидать можно, обе – «буянки», обе – «сорвиголовы» и «разбойницы», обе из «отпетых», – томится бедная фрейлейн Брунс.

– Чернова, молчать! Не шептаться!

– И ты, Баян, спать! – неожиданно резко раздается ее

¹³ Спать, дети, спать!

окрик в полутемном дортуаре.

– Ай! – взвизгивает Золотая рыбка делано испуганным голосом. – Кто это кричит? Я заснула, а меня разбудили...

– Трамвай N 7! – торжествующе поднимает голос армянка.

– Ха, ха, ха! – забывшись, громко хохочет Ника.

– Баян! Сейчас же спать.

– Я сплю... – покорно соглашается Баян.

Смех ее смолкает мгновенно. Легкий вздох вы рывается из груди. Два обстоятельства волнуют Нику. Во-первых, необходимо восстановить полную тишину в дортуаре и дать Скифке убедиться в общем спокойствии, а во-вторых... Это «во-вторых» смущает Нику не меньше. Там, в «Долине вздохов», или попросту, на площадке церковной лестницы, ждет ее «Сказка».

Ника Баян, кумир всего института, скрывает всячески от всего класса о том, что обожает «Сказку», Знает об этом только одна Шарадзе, знает потому, что в свою очередь «бегаёт», – как выражаются институтки – за подругой «Сказки», одноплемянницей Тамары, второклассницей, юной армяночкой Марой Нушидзе, с которой княжна Заря Ратмирова, «предмет» Ники, неразлучна.

Ника и сама не может понять, что тянет, ее, умную развитую, талантливую, бойкую и шаловливую девушку, к всегда молчаливой, странно таинственной Заре, с ее красно-рыжими волосами и странными, какими-то пустыми глазами

серо-синего цвета, с тихим, как бы надтреснутым голосом и плавными движениями. Но тянет ее к Заре неудержимо, несмотря на то, что Заря больше молчит и никогда не смеется... «Сеньора Серьеза» прозвали ее в насмешку подружки-второклассницы. Но это молчание, эта серьезность «Сказки» («Сказкой» прозвала княжну Ратмирову сама Ника) и пленяют экзальтированную девушку. Ника Баян сама, со свойственной ей откровенностью, рассказала все Сказке: и о том, что ее, Никин, папа – командир кавалерийского полка, и о том, что у нее есть два брата и бабушка, которые живут далеко-далеко, чуть не на самой границе Манчжурии, что она ездит верхом, как казак или туземец-маньчжур, джигитует, умеет плясать, подражая знаменитой Айседоре Дункан, бо-соножке, и прочее, и прочее... А о княжне Заре Ника не знает ничего.

Слышала только, что род Ратмировых захудалый и бедный и что сама княгиня, мать Зари, приходит на прием к дочери в стареньких платьях и стоптанных башмаках. Но это еще больше привлекает Нику к ее Сказке. Эта молчаливая гордая бедность так подходит к таинственному образу княжны.

Сейчас Ника думает о ней, о том, что Заря и Нушидзе ждут их обеих в «Долине вздохов». Но сегодня Ника не пойдет в «Долину вздохов», ей надо подумать и решить, что делать с маленькой девочкой, как выручить Стешу. И она думает долго, напряженно... Вдруг что-то радостное вливает-

ся ей в грудь. Рой светлых, счастливых мыслей пронесется у нее, как молния, в голове. Сердце начинает биться, как птица в клетке, быстро и бурно... О, какое счастье. Она нашла выход, она знает как помочь горю.

– «Невеста Надсона», «невеста Надсона!» Ты не спишь? – шепотом обращается она к своей соседке с левой стороны (с правой помещается Оля Галкина, донна Севилья).

Вместо ответа, белокурая Наташа Браун, успевшая уже задремать, декламирует спросонья:

Мне снится эта ночь и снится он... угрюмый,
Без цели он бредет на площади глухой,
Сжигаемый своей мучительной думой,
Страдающий своей непонятой тоской...

– Тише, ради Бога тише, Наташа... – молит Ника. – Слушай, что я придумала.

И она тут же наскоро сообщает соседке явившуюся ей так кстати счастливую мысль.

– Ах! – Наташа Браун даже всплескивает беленькими ручками от восторга – такой удачной кажется ей мысль Ники.

– Ника, прелесть моя, дай я тебя поцелую... – лепечет Наташа и бросается на грудь Баян.

Затем обе девушки берутся за руки и босиком, в одних рубашках, направляются из дортуара в умывальную, просторную комнату с медным бассейном-желобом для мытья и с десятком кранов, ввинченных в медную же доску, прилажен-

ную к стене. Маленькая лампочка освещает умывальную. В углу ее в выдвинутом ящике огромного комода-постели спит дортуарная девушка. Ее толстая русая коса свесилась на пол. Руки закинута за голову, рот полуоткрыт.

– Нюша, Нюша! Проснитесь! Идите вниз и пробудьте до двенадцати ночи у вас в девичьей... – говорит шепотом Ника, расталкивая спящую горничную. – И если вы обещаете молчать о том, что я вас просила уйти сегодня, то получите за это рубль, на чай.

Растерявшейся Нюше остается только повиноваться. Она встает, покорная, заспанная, смущенно на глазах барышень натягивает чулки, белье, платье, накидывает платок и исчезает.

Теперь Ника стремительно и бесшумно бросается в дортуар на цыпочках, едва касаясь земли. Здесь, проворная и легкая как серна, она обегает постели, целые три ряда постелей с неподвижно застывшими в них, дабы обмануть бдительность Скифки, воспитанницами, и срывает одеяло с каждой из них. В другое время несдобровать бы Нике, но сегодня, сейчас, воспитанницы выпускного класса знают отлично, что означает этот резкий маневр. И не дольше, как через минуту, тридцать пять белых фигур в длинных ночных рубашках и в туфлях на босую ногу бесшумно скользят за дверь.

– Mesdam'очки смотрите, какой душонок.

– Прелесть какая!

– Это – маленький ангел! Очаровательный ангелок!

– Поцелуй меня, котик мой!

– Нет, нет, меня первую!

– И меня, и меня тоже!

В умывальной собрался, за малым разве исключением, почти весь выпускной класс. В дортуаре остались только двое: «Спящая красавица» Нета Козельская, безжизненная девушка, имеющая способность засыпать всюду, где можно и где нельзя: в классе на уроках, в столовой за обедом, в часы рекреации в зале, не считаясь с обстоятельствами места и времени; да еще Лулу Савикова, или «m-lle Комильфо» – по прозвищу институток, – первая ученица, любимица классных дам, усердная и прилежная, помешанная на приличиях. Институтки-одноклассницы недаром прозвали ее «m-lle Комильфо» или «Комильфошкой». Лулу Савикова, искренне считая себя аристократкой, хотя она только дочь небогатого чиновника, постоянно делает замечания подругам по поводу их неумения держать себя.

– *Fi donc*,¹⁴ какие у тебя манеры! Это неприлично! – по-

¹⁴ Тьфу.

стоянно повторяет она.

Сама она чопорна, медленна, сдержанна, рассчитывает каждое свое движение и напоминает собой куклу-автомат. Разумеется, и нынче она не пожелала придти босой в одной рубашке в умывальную комнату посмотреть племянницу Стешу и предпочла, стора от любопытства, оставаться в постели.

Но зато Валерьянка – Валя Балкашина, удивила всех. Пренебрегая сквозняками и холодом, которые мерещились ей везде и всюду, она появилась в теплых чулках во фланелевой «собственной» юбке в кофте, накинутой поверх казенной сорочки. Заранее волнуясь и нюхая соли, посасывая с меланхолическим видом мятные лепешки от тошноты (ее всегда тошнило в минуты волнения), она одной из первых притащилась в умывальную, кутаясь поверх всего в теплый байковый платок.

Ровно в одиннадцать часов, словно по команде, бесшумно раскрылась коридорная дверь, и Стеша, держа на руках малютку-племянницу, очутилась среди воспитанниц.

Глаша, ошеломленная встретившим ее бурным восторгом, прижалась к груди своей молоденькой тетки и, закрывшись ручонкой, из-под ладошки разглядывала лица окружающих ее воспитанниц.

– Барышни... Золотенькие... Ради Господа Бога, потише... Не погубите... – шептала Стеша, и ее обычно румяное лицо теперь подернулось заметным налетом бледности. –

Потише, барышни, милые... Услышит Августа Христиановна – будет беда...

– Не услышит, она спит...

– И сладко грезит во сне...

– О старой сосне...

– Ха-ха-ха!

– А Глашенька ваша – душонок. Прелесть, что за мордочка! Неправда ли, mesdames?

– Ангел! Прелесть! Восторг!

– Она, пожалуй, не красива, но что-то в ней есть такое...

– Неправда, неправда... Она красавица, лучше Баян и даже Козельской.

– Ну, уж Козельская твоя: сурок, сонный крот и сова...

Глашенька же – божество!

А «божество» в это время с аппетитом обсасывала барбарисовую карамельку, предупредительно подsunутую ей кем-то из воспитанниц. Черные глазенки Глаши лукаво поблескивали, а пухлые губки складывались в улыбку.

– Однако ж, mesdames, соловья баснями не кормят. «Душка», «восторг», «божество», «прелесть» – это мы говорить можем, а что нам делать с Глашей, этого, оказывается, нам придумать не под силу, – первой возвысила голос Шура Чернова, и сросшиеся брови ее сомкнулись над энергичными глазами.

– Да что придумывать то барышни? Хошь лбом стену пробей, не придумать ничего, – с отчаянием произнесла Стеша

– разве только одно: укутаю я потеплее Глашку, отнесу отсюда и оставлю на улице. Авось, добрые люди ее подберут. Все едино – ни в подвал, ни в девичью нам с ней возвращаться нельзя. Я сказала, что увожу ее к знакомым, что берут они у меня девчонку. Стало быть, на улицу и надо ее нести.

– Нет, нет! Что вы говорите, Стеша!.. Это невозможно!.. Это бессердечно и жестоко!.. Я придумала совсем другой исход и, кажется, счастливый и, кажется, хороший... Хотите скажу?

Глаза Баян искрятся. Лицо улыбается всеми своими ямочками.

– Говори же, говори, что придумала, – нетерпеливо шепчут кругом.

– Ах, вы убедитесь, это очень просто... Совсем просто...

Легким прыжком Ника вскакивает на край комода и, сидя «на облучке», говорит, уже пылко, горячо:

– Вы знаете, конечно, Бисмарка, Ефима; у него есть отдельная комнатка. Она совсем изолирована, туда никто не ходит. Она под лестницей... Я несколько раз заглядывала туда, когда посылала Ефима за покупками. Он очень аккуратный, чистый... И в каморке у него чистота... Он грамотный, читает газеты. Значит, умный, значит, толковый... Недаром же целые поколения институток прозвали его «Бисмарком». У него две слабости: любовь к политике и к детям. Он постоянно зазывает к себе детишек и возится с ними. Что, если попросить его приютить у себя до поры до времени Глашу?..

Потом мы устроим ее как-нибудь иначе, а пока... Кормить и одевать мы ее будем сами; каждый день от обеда и ужина по очереди каждая из нас будет отдавать ей свою порцию, – одна суп, другая жаркого, третья сладкого. На карманные деньги станем покупать ей платица и сладости.

– И лекарства, в случае она заболит, – вставляет неожиданно Валерьянка.

– Тс! Тс! Не мешай говорить Нике!.. – шикают на нее подруги.

– Ну, лекарств покупать не придется. Мы будем иметь их даром из Валиной аптеки, – острит Золотая рыбка.

И на нее шикают тоже и машут руками.

– Продолжай, Ника, продолжай... – слышится кругом.

– Но все это надо делать, mesdames, под полным, абсолютным сохранением тайны. Чтобы никто не знал, кроме Бисмарка, Стеши и нас. Хранить свято от начальства наш секрет. Сторожу Ефиму мы будем платить за угол... Не знаю, поняли ли вы меня...

– Поняли! Поняли! – послышались сдержанные голоса.

– Вы понимаете, mesdames, Глаша будет как бы «дочь института», наша дочка.

– Да! Да! Да!

Лица институток, оживленные и взволнованные обращены к Нике Баян.

Нет, она положительно маленький гений, эта Ника! Кто подсказал ей этот чудесный план? Каким новым радостным

значением благодаря ему наполнится теперь жизнь выпускных, такая серая, такая будничная, обыденная жизнь до этой минуты.

– Mesdames, мы будем всячески заботиться о ней, раз она является нашей маленькой дочкой, – мечтательно говорит «невеста Надсона».

– Да, да. И пусть она называет нас всех мамами, – в тон ей шепчет Хризантема.

– Ну вот еще!.. Тридцать пять мам!.. Есть от чего сойти с ума!.. Я бы хотела лучше быть папой, – выступает с лукавой усмешкой черненький Алеко.

– Ну вот и отлично! Шура Чернова будет папа, а я бабушка! – и, забывшись, шестнадцатилетняя бабушка Ника Баян хлопает в ладоши и хохочет и прыгает на одном месте.

– В таком случае, я буду дедушкой, – бухает Шарадзе и торжествующим взглядом обводит подруг.

– Только не вздумай мучить ее загадками и шарадами. С ума от них можно сойти, – звенит своим стеклянным голоском Золотая рыбка.

– Нет, нет, я предоставлю Хризантеме рассказывать ей о цветах, донне Севилье об Испании, а «невесте Надсона» читать стихи любимого поэта, – покорно соглашается Тамара.

– Нечего сказать, блестящее воспитание получит наша дочка, – смеется Земфира, она же Мари Веселовская. – Mesdames, – прибавляет она, – раз главные роли уже определяются, я предлагаю быть ее теткой.

– И я.

– И я тоже.

– И я, – слышатся голоса, – теток может быть много, это не матери.

– Mesdames, остается свободная вакансия на дядей. Желающие есть? – самым серьезным образом спрашивает Дона Севилья.

– Нет, нет. Дядя должен быть один – Бисмарк-Ефим. Это его преимущество.

– А захочет ли он еще принять к себе Глашу?

– Ну, вот еще! Как он сможет не захотеть, как он посмеет не захотеть? Ведь мы ему за это платить будем.

– Не то, не то, – и черненький Алеко снова выступает на сцену. – Во-первых, не будем наивны и не станем думать, что облагодетельствуем Ефима предложением взять девочку. Бесспорно, он многим рискует, если примет Глашу. Ведь его могут лишиться места за это. Без спроса в сторожке, как и всюду среди этих чопорных стен, не может по селиться ни одна живая душа. Но, правда, и я слышала, что Ефим обожает детей и что у него недавно умерла маленькая внучка в деревне, а потому я убеждена, что он исполнит нашу просьбу – возьмет Глашу.

– Только бы она не болела! Я подарю Ефиму мою аптечку... И научу его, как и по сколько давать Глаше лекарств... – произнесла Валя.

– Ну, пошла-поехала! Этого еще не хватало: здоровую

девчущку пичкать валерьянкой и мятой! – зазвучали негодующие голоса.

– Нет, что вы! – внезапно смущается Валя, – я только предложила бы делать химические анализы той пищи, которую будем давать нашей дочке... Надо же знать, сколько белковых веществ входит в нее.

– Душа моя, помолчи лучше, – бесцеремонно обрывает ее Шарадзе, в то время, как все остальные кругом сдержанно смеются.

Несмотря на этот смех и суету, Глаша, единственная причина всех этих горячих споров и переживаемого волнения, умудряется заснуть на руках Стеши. Ее белобрысая головенка прислоняется к плечу девушки, темные ресницы сомкнулись, алый ротик приоткрыт...

– Mesdames, тише: она заснула. Какой душонок! Я сейчас же со Стешей иду к Бисмарку и буду просить, молить и требовать, чтобы он принял нашу Глашу, – взволнованно бросает Баян и мчится в дортуар одеваться.

– И я с тобой, и я, – настаивает шепотом Тамара Тер-Дуярова.

– Прихватите и нас с Земфирой, – просит Алеко.

Через минуту, депутация, во главе со Стешей, несущей сонную Глашу, крадется из умывальной, сопровождаемая напутствиями и пожеланиями остающихся. Среди последних возникают новые разговоры, новые горячие споры.

– Глаша, это – невозможное имя, – возмущается поэтич-

ная «невеста Надсона». – Глаша... Глафира... ужас!

– Назовем ее как-нибудь иначе, это ни к чему не обязывает... – предлагает донна Севилья. – Ах, – с пафосом добавляет она, – у русских нет совсем красивых имен. Это не Испания. Если бы ее можно было назвать донной Эльвирой... донной Лаурой, донной Альфонсиной... Как это было бы прекрасно.

– Перестань грешить, Галкина! – неожиданно и сурово обрывает ее Капочка Малиновская. – Католическое имя для русской – это невозможно!

– Ничего тут нет грешного, ей Богу, – хорохорится Ольга, – откуда ты взяла?

– А произносить имя Господа Бога твоего всеу – грех и ересь сугубая, – не унимается Капочка.

– Mesdames, уймите же эту святошу – уже сердится Ольга.

– Простую смертную, грешницу, святошей называть – тройкий грех и ересь, – бубнит Малиновская, награждая Галкину уничтожающим взглядом.

– Mesdames, держите меня, а то я, Бог знает, что с ней сделаю! Я не отвечаю за свой испанский темперамент! – внезапно раздражается смехом донна Севилья.

Вдруг Золотая рыбка ударяет себя ладонью по лбу.

– Придумала! Придумала! Это не имя, а прозвище. И какое красивое! Какое подходящее! – звенит ее стеклянный голосок.

– Ну? – срывается у всех одним общим звуком.

– Мы станем называть ее «Тайной». Неправда ли, хорошо? – и красивые глазки девушки вспыхивают и загораются оживлением.

– Лидочка, ты – богиня мудрости, ты – сама Афина Паллада! Дай я тебя поцелую за это!.. – и Муся Сокольская, Хризантема, с поцелуями бросается на грудь подруге.

– «Тайна института». Это и красиво и... и... Удобно. Так и будем называть ее «Тайной», – продолжала развивать свое предложение Золотая рыбка, сама, очевидно, восхищаясь пришедшей ей на ум мыслью.

– Великолепно! Очаровательно! – восклицает Хризантема.

– Тайна! Это адски хорошо!

– Лучше всяких испанских имен, пожалуй, – соглашается и донна Севилья.

– А жаль, – смеется Маша Лихачева, – что не испанское имя мы дали Глаше. Лишим этим возможности нашу донну послать прошение испанскому королю разрешить принять на себя крещение нашей дочки.

– Глупости говоришь, – вспыхивает и смеется Ольга.

– А разве ты не думаешь постоянно об Альфонсе испанском? А? Сознайся. Послала бы ему прошение и подписала бы: «Русско-испанская подданная Донна Севилья Галкина». Не правда ли, хорошо звучит, mesdames?

– Олечкино прошение не было бы принято, – смеются институтки.

– Но почему? Она ведь приложила бы к нему гербовую марку со штемпелем, как следует...

– Mesdames, мы уклоняемся от главной темы. Нравится придуманное прозвище или нет? – и Золотая рыбка обегает оживленным взглядом лица подруг.

– Bravo! Bravo! Чудесно! Бесподобно! – звучат кругом голоса и сдержанные аплодисменты.

Одна Капочка недовольна, качает головой и шепчет:

– Тайна! Не христианское, а языческое что-то. Грех и ересь.

– Сама-то ты ересь в квадрате, в кубе... – смеется Ольга Галкина.

– Mesdames, вы спать не даете! Адски спать хочется, а вы тут тары-бары... – и неожиданно на пороге умывальной появляется комичная заспанная фигура Неты Козельской, «Спящей красавицы». Ее косы распустились, обычно большие глаза сузились от света, одна щека, отлежанная на подушке, вся в рубцах, пылает, другая нормально бела. – Это просто нелюбезно, mesdames, будить по ночам, – шипит она сердито, – адское свинство.

Нету обступают подруги. Ей поясняют всю суть дела.

Можно ли спать в такую ночь, когда у них появилась маленькая Тайна, крошечная дочка, внучка, племянница, и когда они все сразу стали мамами, бабушками, тетями, дедушками, когда начинается новая жизнь, полная тайны, прелести, очарования...

– Ах, mesdames'очки, как это хорошо! – внезапно оживляется и Нета, и вся ее сонливость исчезает мгновенно. – Только Комильфошке не надо говорить. Наша Савикова терпеть не может детей, рожков, сосок и пеленок.

– Да какие же рожки и пеленки, когда Глаше... то есть, Тайне, скоро исполнится пять лет...

– Ну да, конечно... Только Лулу Савикова и пятилетних детей не терпит.

– Ну так пускай она будет мачехой «Тайны», если так, – сердито решает «невеста Надсона» и декламирует с ей одной свойственным пафосом и увлечением:

Тяжелое детство мне пало на долю;
Из прихоти взятый чужою семьей,
По темным углам я наплакался вволю,
Изведав всю тяжесть подачи людской...

– Тьфу! Тьфу! Тьфу! Пять типунов тебе на язык и вдвое под язык... не пророчь... – замахали на «Невесту» подружки, – с чего ты взяла, что у нашей Тайночки будет тяжелое детство?.. У нее любящий отец, столько теток, бабушка, дедушка, все родство налицо...

– Но раз у нее мачеха...

– Ах, вздор!.. Лулу – мачеха, но кроме того и мать будет... Мы Земфиру выберем; она самая серьезная и тихая, – предлагает «Хризантема».

– Да, да. Выберем Мари в матери Тайны, – в забывчивости

кричит Маша Лихачева.

В тот же миг распахивается дверь из коридора.

– Ур-р-ра, mesdames! Победа! Победа! Бисмарк Согласен, Тайна принята! – врываясь во главе вернувшейся депутации, кричит, забывшись, во весь голос Ника Баян.

– Взята, взята Бисмарком Тайна! – вторят ей Шарадзе, Алеко и даже всегда уравновешенная Земфира-Мари.

– Только, чур, mesdames, полнейшее молчание... Тайна должна оставаться тайной и...

– Was ist denn hier für eine Versammlung?¹⁵ Кто вам позволил шуметь среди ночи? – и сухая, костлявая фигура Скифки, с клюквообразным носом и багровыми щеками, облаченная в капот, появляется внезапно на пороге умывальной.

Дружное «Ах!» вырывается из трех десятков грудей. Пойманы с поличным. О спасении нельзя и думать. Отступление отрезано, да и не послужит оно ни к чему. Острые маленькие глазки «дамы» проворно оббегают смущенные лица.

– Баян... Чернова... Дуярова и даже Веселовская! Я никогда не ожидала от тебя, Мани Веселовской! Где вы были? Почему вы одеты? Молчите? Ага! Заговор? Бунт? Скандал?.. Завтра же будет все известно ее высокопревосходительству... А теперь все спать, а вы четверо стоять у моих дверей, пока не прощу. Марш! И всему классу по одному баллу за поведение долой.

– Господи, помяни царя Давида и всю кротость его, – пе-

¹⁵ Что такое? Что здесь за сборище?

репутанная не на шутку, искренно шепчет Камилавка.

– Малиновская, без уродства и шутовства! Марш! Молчать!

Наказанные покорно проходят к дверям скифкиного жилища и становятся там «на часы». Ненаказанные смиренно укладываются по постелям. Через пять минут, когда Скифка исчезает за дверью, они имеют удовольствие наблюдать в полутьме, как «часовые» Алеко Чернова с Никой жонглируют сдернутыми с себя пелеринками и манжами и свернутыми в виде мячиков, состязаясь в ловкости... И ни тени огорчения не заметно на их оживленных лицах.

Глава VI

Нижний лазаретный коридор постоянно освещен электрическими лампочками. Он помещается направо от швейцарской и ведет в него большая стеклянная дверь. Между этой дверью и церковной «парадной» лестницей находится летний выход в сад (зимний ведет через столовую на веранду), ведущий через куполообразную круглую комнату, называемую «мертвецкой». В этой комнате, Действительно, ставят гробы с умершими воспитанницами, классными дамами и институтской прислугой, а самую комнату украшают тропическими растениями и цветами. Но это только в редких случаях, когда стены учебного заведения посещает жестокая, непрощенная гостя-смерть. В обычное же зимнее время круглая со стеклянной дверью «мертвецкая» закрыта на ключ. В ней хранятся летние игры: казенный лаун-теннис и крокет, а также снятые на зиму качели и ляжки от гигантских шагов. Около «мертвецкой» находится небольшое окошечко, выходящее нижнюю площадку лестницы. Здесь – комнатка Бисмарка или институтского сторожа Ефима. Вход в нее устроен под лестницей. Комнатка имеет всего четыре аршина в ширину и три в длину. Она полусветлая и очень низенькая, но подкупающая чистота, господствующая в этом более чем скромном жилище, заставляет забывать о его незначительности. За ситцевой занавеской стоит постель, накры-

тая дешевеньким пикейным одеялом, в глубине – сундук; у правой стены – стол и два стула. В переднем углу – божница. Несколько небольших образов заключены в раму; перед ними горит неугасимая лампада. За киотом заткнуты пучок прошлогодних верб и восковая свеча от Двенадцати Евангелий. В углу стоит невысокий шкафчик-поставец; в нем лежат книги и газеты. Особенно много там газет сложенных аккуратнейшим образом вчетверо, лист к листу. Но есть и книги, преимущественно божественного и исторического содержания: русская отечественная история, поэма в стихах «Дмитрий Донской», несколько разрозненных номеров старых журналов, «Жития»: преподобного Антония Печерского, Сергия Радонежского, великомученицы Екатерины и другие.

Ефим-Бисмарк – очень религиозный человек, но имеет большую склонность и к политике. На все свой свободные гроши он покупает газеты, больше всего в них интересуясь политикой. Он прочитывает их все от строчки до строчки самым добросовестным образом. Все текущие политические дела он твердо знает, как «Отче наш». Со всеми выдающимися деятелями Европы он знаком по газетам довольно основательно. Президенты, премьер-министры и просто министры, это – его закадычные друзья.

Семь часов утра. На дворе декабрьский утренний сумрак. В институте полная тишина. Только что отзвонил звонок в верхних коридорах, призывающий к утреннему туалету. Но

внизу еще мало движений; разве пробежит лазаретная девушка по нижнему коридору, да швейцар Павел повозится у себя в швейцарской, не успев еще надеть своей красной либреи, за которую институтки дали ему прозвище «Кардинала».

Но Ефим-Бисмарк давно уже поднялся в своей сторожке, сходил за кипятком на кухню, заварил чай и теперь будит Глашу.

– Вставай, девонька, пора. Не ровен час, кто еще сунется, пропали мы тогда с тобой оба.

За ситцевой перегородкой спит одна Глаша. С тех пор, как девочка поселилась у него в каморке, Ефим стелет себе постель на полу.

– Глаша, а Глашутка, вставать надо! Живее, девонька!

Черные глазенки раскрываются сразу и смотрят испуганно-удивленно. Всклоченная головка потешно поворачивается вправо и влево. Глаша спала нынче так сладко. Она видела чудесные сны. Видела, что ей подарили много диковинных вещей, видела огромную куклу, такую, о которой мечтала давно: с черными глазками, с розовыми щеками, с белокурыми волосами...

– Дедуска, а дедуска, – лепечет Глаша, – правда, сто нынче мое лоздение? – обращается девочка к своему покровителю и другу.

– Да уж ладно, правда, Стеша сказывала, стало быть, правда, – ворчливо отзывался Ефим.

Он и рад и не рад своей новой жилище. Вот уже второй месяц пошел с того дня, как поселилась в его каморке под лестницей маленькая черноглазая беловолосая девочка. Поселилась, благодаря исключительно доброте его, Ефима, и сразу же, с первого дня своего водворения в каморку, забрала его властно в свои крошечные ручонки. Вначале он, отставной унтер Ефим Гавриков, когда прибежавшие к нему институтки стали упрашивать его приютить у себя до поры до времени девочку, – и слушать не хотел об этом: боялся «ее высокопревосходительства госпожа начальницы», боялся эконома, заведующего составом мужской институтской прислуги, боялся классных дам, – словом, боялся всех. Он, этот пятидесятипятилетний старик с сивыми усами и огромными очками, за которыми странно большими казались добрые серые глаза, свыкся с жизнью институтского сторожа за свои долгие двадцать лет службы, и терять место из-за какой-то пришедшей девчонки совсем не входило в его расчеты. Но, во-первых, «пришедшая девчонка» оказалась похожей, как две капли воды, на его малютку-внучку Марфутку, в которой старик души не чаял и которая год тому назад умерла в деревне под Лугой, а, во-вторых, сама Глашутка являлась светлым лучом в бедной впечатлениями жизни старика.

Поняв сразу, что от ее благонравия и соблюдаемой ею тишины будет зависеть и дальнейшее благополучие ее жизни и пребывание здесь, Глаша, или Тайна на вычурном языке институток, вела себя образцово.

Тихо, как мышка, притаилась девочка в каморке своего благодетеля, бесшумно играя игрушками, доставляемыми ей сюда институтками. Никто, кроме посвященных в тайну, и не знал, что крошечная черноглазая девочка скрывается в Бисмарковом жилище. Уходя из каморки, Ефим всегда запирает девочку на ключ. Подышать свежим воздухом он выпускал Глашу через «мертвецкую» в те часы, когда в институте бывал обед и когда все население учебного заведения находилось в столовой. Обед и ужин, вместе с лакомствами, доставлялись в сторожку самым аккуратным образом выпускными воспитанницами, а деньги, плата за Глашино помещение, вносились ими так же аккуратно в размере шести рублей, по три рубля каждые две недели. От этих денег Ефим хотел было совсем отказаться сначала, но потом решил, что они пойдут па самую Глашу и пригодятся ей на черный день.

Первый месяц ее пребывания в каморке прошел быстро, как сон; наступил другой. Нынче было третье декабря, день, когда Глаше стукнуло пять лет. Старик Ефим припас девочке подарок: плитку шоколада и нитку дешевых бус. Не успела Глаша, как следует, налюбоваться ими, как у дверей раздался троекратный стук, – условленный звук своих. Глаша, бросившаяся было за ситцевую перегородку на постель, как всегда делала это при малейшем признаке опасности, на этот раз остановилась сияющая посреди комнаты и устремила на дверь зажегшиеся любопытством глазки. Малютка вспомнила сразу, что троекратным стуком в дверь могли извещать о

своем приходе только ее баловницы тетеньки, институтки.

Действительно, из-за двери, предупредительно открытой Ефимом, выглядывали их милые, оживленные, хорошо знакомые девочке лица: «дедушки» Тамары, «бабушки» Ники, «папы» Алеко, «мамы» Земфиры, «тети» «донны Севильи», или, попросту, тети Оли, как называла «кажущуюся испанку» Глаша, «тети» Маши Лихачевой, «тети» «Золотой рыбки» и ее подруги «тети» Муси, «тети» Эли Федоровой и «тети» Лизы Ивановой.

Прибежала и белокурая «тетя» Наташа, которая так хорошо умела читать Глаше о чем-то таком, чего еще, за крайней молодостью своей, никак не могла понять Глаша, но что звучало так складно и так красиво.

Первая вбежала Шарадзе, она же и «дедушка» Глаши.

– Здравствуй, милая Тайна! Поздравляю тебя!

– Дорогая девочка! Ненаглядная Тайна, поздравляю.

– Поздравляю Тайну, доченьку, дорогую нашу малютку!

И все оставшиеся наверху тети поздравляют и целуют тебя.

– Милая крошка Тайна, поздравляю, поздравляю... Поздравляю.

Град поцелуев и поздравлений сыплется на Глашу, как цветы и конфеты из рога изобилия, изображаемого на картинах. Потом ее торжественно подхватывают на руки и несут. Несут и сажают на стол.

– Вот тебе подарочек от меня, милая Тайна.

– И от меня.

– И от меня.

– А вот и мой.

Глаза Тайны раскрываются широко... Крик восторга рвется из маленькой груди и замирает на губах.

Она не видит изящного, всего в розовых бантах и прошивках платья, которое ей дают «мама Земфира» и «папа Алеко», не видит хорошенького альбома, зарисованного хризантемами и розами, не видит крошечной склянки с водой, где мечется живая золотая рыбка – приношение Лиды Тольской, не видит большой красивой банки с помадой, которую протягивает ей сама насквозь пропитанная духами Маша Лихачева... И коробочки с перышками, резинкой, цветными карандашами и картинками в руках Лизы Ивановой не видит Глаша. Она видит только одно: ее сбывшуюся, в конце концов, мечту, мечту маленькой девочки, которую она только раз обронила вслух как-то – прелестную куклу в руках «бабушки» Ники, заветную куклу, одетую институткой, в зеленом камлотовом платье, в переднике и пелеринке, как у заправской институтки.

Куколка, милая куколка! Дорогая, добрая, прекрасная мечта!

Глаза Глаши широко раскрыты и горят восторгом. Щеки рдеют; губки раздвигаются в блаженную улыбку, ручонки тянутся к дивному видению помимо воли девочки.

– Дай, бабуська Ника, дай... – лепечет повелительно и радостно крошка.

Растрепанная головка качает отрицательно.

– Нет, нет, раньше поцелуй меня за то, что я отгадала твое желание.

– Баян, не смей мучить ребенка! – кричит Шарадзе и топает ногой в то время, как Глаша звонко чмокает свою шестнадцатилетнюю бабушку в ее свежую щечку.

Тамара не принесла «настоящего подарка», но зато припасла для общей дочки целую коробку «сборных конфет», которыми ее угощали подруги после приема родных. Тер-Дуярову никто не навещал, все ее родные и знакомые жили далеко, в Тифлисе, а сама она «хронически» страдала отсутствием денег. Эти конфеты собирала она целую неделю, имея «гражданское мужество» отказываться от них в пользу своей названной внучки. Был у нее заготовлен и еще один подарок для Глаши, но он был единогласно отвергнут всем классом: тщательно составленный и переписанный в хорошенькую тетрадку сборник шарад, над которым просидела три долгие вечера Тамара. Этот подарок, забракованный остальными за молодостью лет Тайны, остался лежать в пюпитре армянки.

В крошечной сторожке стало сразу весело, шумно илюдно. Запахло острым запахом «шипра», которым, пренебрегая чопорными институтскими традициями, немилосердно душилась Маша Лихачева. Даже Ефим сияет нынче. Подняв очки на лоб, он смотрит на барышень ласковыми старческими глазами. Отношение институток к Глаше трогает и раду-

ет старика.

– После обеда я приду сюда. Сегодня я дежурная по столовке, – говорит Золотая рыбка, – уж вы заранее откройте, Бисмарк, то есть, Ефим я хотела сказать, чтобы не пришлось ждать у дверей... – звенит ее стеклянный голосок.

– Хорошо, мамзель Тольская, открою.

– Тайночка милая... – мечтательно говорит «невеста Надсона», обнимая Глашу, – взгляни на мой подарочек, что я тебе принесла.

Увы, эта книжка в зеленом переплете с золотым обложком, – собрание стихотворений Надсона, – пятилетнюю Глашу отнюдь не интересует.

– Удивительно остроумный подарок! – ворчит Маша Лихачева, – это ей понадобится лишь к пятнадцати годам, тогда бы и подарила.

– Ну, а твоя банка с помадой, подумаешь, остроумнее. Да? Нечего сказать, учить только преждевременному кокетству... – вступает за Наташу Лиза Иванова.

– Батюшки, совсем как Скифка! Адски добродетельный экземпляр! – хохочет над Лизой Ника, успевшая подхватить Глашу на руки и зацеловать ее до бесконечности.

Она явно торжествует: ее подарок имеет наибольший успех. Недаром студент-электротехник Сережа Баян, брат Ники, избегал весь город, выискивая такую именно куклу, какую «загадала» его изобретательная сестрица: с черными глазами, белокурую, со вздернутым носом и настоящими

ресничками, словом, две капли воды похожую на самое Глашу. Семь кукол были отвергнуты Никой; на восьмой кое-как поладили брат с сестрой. Затем, в тот же день, Ника отдала куклу в гардеробную девушкам-швеям сшить ей настоящее институтское белье и платье, и вскоре из-под искусных рук Марфы Посадницы и Маши вышла маленькая институтка с фарфоровой головкой и белокурыми волосами.

За все эти хлопоты, по-видимому, Ника была вполне вознаграждена. Блестящие глазенки Тайны и ее сияющее удовольствием личико говорили сами за то, что институтская дочка в восторге от подарка своей бабушки.

Звонок к молитве неожиданно прервал веселую болтовню в каморке.

– Бежим скорее! «Четырехместная карета» уже выкатилась из своего сарая. Прощайте, Бисмарк. Прощай, маленькая Тайна! До завтра! – зазвенели веселые голоса.

– А я увижу вас еще сегодня. Я принесу обед, пока до свиданья, Ефим. До свиданья, Тайна... – и Золотая рыбка первая выскакивает за дверь.

Рассеянная Шарадзе в забывчивости «ныряет» перед Ефимом; то есть, попросту, отвешивает ему реверанс.

Старик сконфужен.

– Прощайте, барышни... – лепечет он смущенно в то время, так остальные, толкаясь в дверях, выскакивают с смехом за порог каморки.

Звонок заливается оглушительно в верхнем дортуарном

коридоре.

– Бежим прямо в залу... Все равно не успеем проскочить в классы, попадемся навстречу «Четырехместной карете»... – заметила тихо «Донна Севилья».

– Mesdam'очки, чур! Если встретим Ханжу. – передники на голову и спастись бегством. По крайней мере, лиц не увидит...

– Ну, разумеется.

– Mesdames, хорошо как! Удалось Тайночку порадовать. Теперь бы в залу пробраться без последствий...

– Все спокойно пока... Тихо, гладко и безмятежно... «Привет тебе, приют священный...» – неожиданно запева-ет арию Фауста на весь коридор Эля Федорова, невероятно фальшивя на каждой ноте.

– Федорова, ты в своем уме? Эля! Молчи! Мол...

Увы, слишком позднее предупреждение. Из-за стеклянной двери, ведущей на вторую половину нижнего коридора, как раз навстречу институткам выкатывается инспектриса института, Юлия Павловна Гандурина. Это – маленькое кривобокое существо в черной наколке с морщинистым лицом и тонкой осиной талией. Она – бич воспитанниц. Она постоянно и повсюду ловит и выслеживает девочек, выговаривая им за малейшую провинность, и постоянно грозит небесной карой и взысканием «свыше», за что и получила прозвище «Ханжи». В церкви и на молитвах, в то время, как она, лицемерно подняв глаза к небу, изображает всем существом сво-

им олицетворенную молитву и смирение, – маленькие пронырливые глазки успевают одновременно зреть и горные высоты, и юных проказниц, нарушающих в данный момент институтские традиции.

– Это – Ханжа!.. Бежим... Спасемся... – сорвалось с уст Шарадзе, и она первая помчалась вперед, минуя инспектрису, с накинутым на голову белым фартуком.

– Тер-Дуярова, куда?

Скрипучий голос Юлии Павловны, словно гвоздь, приближает к месту армянку, и бедняжка Тамара как бы обращается мгновенно в неподвижный столб.

– Баян!.. Чернова!.. Тольская!.. Галкина!.. Лихачева!.. Иванова!.. Ну, конечно, все отпетые шалуни... – произносит инспектриса, презрительно оттопыривая нижнюю губу. – Очень жаль, что такая хорошая ученица, как Мари Веселовская, за одно с вами, и Сокольская тоже... Вообще дружба Черновой с Веселовской и Сокольской с Тольской не приведет к добру...

Юлия Павловна рассчитывала продолжать нотацию, но вдруг остановилась на полупhrазе.

– Кто это так надушился? Кто посмел? Лихачева, вы? – сказала она, грозно сдвигая брови.

Красная, как кумач, Маша выступила вперед.

– Что это такое? – грозно накинулась на нее «Ханжа».

– Это... это... «шипр».

Эффект получился неожиданный.

Маша растерялась, и трепещущие губы девушки произнесли то, чего от нее и не требовалось вовсе. Вопрос инспектрисы отнюдь не относился к названию духов, он просто выражал высшую степень негодования.

– Ага, «шипр»! Вы осмеливаетесь еще и дерзить, мало того, что отравляете воздух этой дрянью!

– Это «шипр»... – уже ни к селу, ни к городу подтверждает окончательно растерявшаяся Лихачева в то время, как другие трясутся от усилия сдерживать обуревающий их смех.

– Прекрасно. Вы отправитесь сегодня же в лазарет и примите ванну... Слышите ли? – Ванну, чтобы избавиться от этого ужасного запаха... – повышает голос инспектриса.

– Но... Но... Это невозможно... – лепечет смущенная Маша – я впиталась в него...

– Что такое? – грозно поднимаются брови инспектрисы, и ее маленькие глазки сверкают.

– Что?

– То есть, он... То есть, «шипр» впитался в меня... – поправляется еще более некстати Маша.

– О, это бесподобно! – насмешливо улыбается инспектриса. – Это великолепно! Молодая девушка, вступающая через полгода в свет, впитывает в себя не основы религии, не правила добродетели, а какие-то скверные духи...

– Они не скверные, m-lle. Уверяю вас; они стоят семьдесят копеек.

Последняя фраза в конец погубила бедную «Фабрику Рал-

ле». С жестом, полным презрения, с саркастической улыбкой на тонких губах, инспектриса махнула рукой.

– Вам будет сбавлено два балла по поведению за «шипр» и два за дерзкий ответ, – проскандировала она зловещим голосом и тотчас же обратилась к другим воспитанницам, отвернувшись от вконец смущенной Маши:

– Теперь я желала бы знать, где вы были?

Что было ответить на такой вопрос? Все, что угодно, только не правду. Сказать правду – значило бы погубить Тайну, Ефима и Стешу. А этого ни под каким видом делать было нельзя. И Ника Баян, заранее возмущаясь неизбежной ложью, выступила вперед.

– Мы были около сторожки Ефима, m-ле. Нам надо было сторожа... – произнесли покорно ее розовые губки.

– Зачем? Чтобы послать его за какой-нибудь дрянью, в роде чайной колбасы или дешевых леденцов? – С новой презрительной улыбкой допытывалась Гандурина.

Легкое замешательство задержало ответ Ники. Отвечать, что они, действительно, хотели послать за покупкой Ефима, конечно, было нельзя. Сторожам и девушкам-прислуге было строго-настрого запрещено ходить за сладкой провизией и другими покупками для институток. Все это должно было приобретаться при благосклонном участии классных дам, под их неизменным контролем. Каждый нарушивший это правило со стороны сторожа или прислуги неизбежно платился наказанием или же вовсе лишался места.

И, зная это прекрасно, Ника избрала совершенно иной план действия, более сложный и утонченный, не грозивший никому, кроме ее самой... Вся раскрасневшаяся, с потупленными глазами и дрожащими от смеха губками, она сделала шаг вперед.

– М-Ле, – тихим, кротким и печальным голосом произнесла шалунья, – я... я... виновата во всем одна. Ефим не знает даже, что я была здесь... И моих подруг я уговорила пойти со мной... Такой ранний час... Так темно и тихо... Такая жуткая мертвецкая... Мне было страшно одной...

– Но зачем же вы пришли сюда? – чуть ли не взвизгнула Юлия Павловна, снедаемая любопытством.

Ника замирает на мгновение в молчании. Все ждут ее ответа; больше всех инспектриса Гандурина. И вот с дрогнувших губок Ники срывается никем не предвиденный ответ:

– Я... я... хотела поговорить с «ним».

– Что? Что вы сказали?

Пальцы Юлии Павловны остро впиваются в руку девушки. Ее глаза, прыгающие от любопытства, как две стрелы, пронзают Нику. Если бы эти стрелы имели возможность убивать, то хорошенькая Ника Баян, наверное, уже лежала бы у ног инспектрисы, пронзенная ими насмерть. Но лицо самой Ники внезапно приобретает ее обычное задорное веселое выражение.

– Ну, что ж такого, м-Ле... – говорит она, тряхнув плечами – ну, что ж такого? Я хотела поговорить с Ефимом...

О, этого еще не доставало! Институтки трясутся от усилия удержать смех. Лица их красны, черты искажены – Гандурина до того растерялась от этого неожиданного признания Ники, что положительно теряет дар слова.

И только после продолжительного молчания, она поднимает палец к небу и торжественно говорит.

– Баян, я уважаю вашего отца и жалею его, потому что, воистину, горькое испытание иметь такую дочь... Вы интересуетесь разговором с простым сторожем! Ужас! Ужас!.. Я не хочу наказывать вас за это, Баян, так как вы были чистосердечны и покаялись мне во всем откровенно, но... Я требую, чтобы вы выбросили вашу дурь из головы, а для этой цели молились бы ночью. Молитесь, кладите по десяти поклонов утром и вечером, читайте по две главы Евангелия ежедневно, и, может быть, Господь милосердный избавит вас от наваждения и просветит ваш ум... А затем я требую, я беру с вас честное слово, что вы не будете искать больше случая увидеть Ефима и караулить его здесь. Вы должны дать мне это слово, Баян, – торжественно заключила свою речь инспектриса.

– Я даю вам его, m-lle. Я постараюсь исполнить все то, что вы говорите, и надеюсь, что ваши советы спасут меня... – исполненным смирения и покорным тоном шепчет Баян.

Юлия Павловна растрогана и польщена. Обаяние этой очаровательной девушки-ребенка действует и на нее. Никто еще с ней не говорил так чистосердечно. И потом, не так

уже, в сущности, грешна эта девочка с поэтичной головкой, с глазами, как две далекие небесные звезды, что чувствует потребность поговорить с «посторонним» человеком. И костлявая рука инспектрисы протягивается, к юному свежешему личику, а скрипучий голос бубнит протяжно:

– Вы дали мне слово, и я вам верю. Вы всегда держите ваше слово, Баян. А теперь ступайте все в залу на молитву и чтобы я вас никогда не видала здесь.

С этими словами Гандурина исчезла так же быстро, как и появилась, за колоннами нижней площадки, а семь юных девушек птицами взвились во второй этаж по лестнице, дрожа и задыхаясь от смеха.

– Вот так ловко придумала!

– Ай да Никушка! Ай да молодец!

– Умереть от хохота можно!

– Нет, ведь выдумать надо: хотела поговорить с Ефимом!

– Ха, ха, ха!

Подруги хохочут неистово, не будучи в силах сдерживать смех, но сама Ника грустна. В поэтично растрепанной головке проносятся сбивчиво тревожные мысли:

«Ложь, невольная хотя, но все-таки ложь. И бедный добрый Ефим точно явился посмешищем... И Ханжа тоже... Некрасиво это в сущности, но что же делать? Был единственный выход спасти троих людей, другого выбора не было, пришлось пойти на сделку с собственной совестью с ее, Никиным, „рыцарством“ за которое ее так любит ее институт».

И успокоенная отчасти, она последовала за подругами, бочком проскользнувшими в зал, где уже собрались все классы, в ожидании общей молитвы.

Глава VII

На дворе трещит декабрьский морозец. Белые снежинки-мухи крутятся за окнами.

Одиннадцать часов утра. В классе выпускных сидит учитель словесности, высокий некрасивый, с худым болезненным лицом и глубоко запавшими глазами. Его фамилия Осколкин, но есть и прозвище, как это водится в институте: за постоянное прибавление фразы «благодарю вас» после каждого ответа, его так и прозвали институтки «Благодарю вас».

Он подробно и красочно объясняет воспитанницам значение Пушкина, разбирает повести Белкина, говорит о романах и поэмах великого поэта. Мелькают названия: «Арап Петра Великого», «Капитанская дочка», «Полтава», «Цыганы», «Евгений Онегин».

У окна за столиком, низко склонив голову с близорукими глазами, сидит над изящной полоской английских кружев вторая французская классная дама, Анна Мироновна Оль, прозванная институтками «Четырехместной каретой». Анна Мироновна не в меру полна, не в меру мала и очень добродушна. Но прозвище «Четырехместной кареты» она заслужила отнюдь не за свою толстенькую шарообразную фигуру; нет, это прозвище имело гораздо более глубокий смысл. У добродушной и снисходительной, много спускающей с рук

институткам Анны Мироновны есть «пунктик»: она постоянно повторяет воспитанницам, что для каждой благовоспитанной девушки необходимо соблюдать четыре правила, а именно: прилежание, любовь к занятиям, веру в успех и почтение к педагогическому начальству. За это ее и прозвали «Четырехместной каретой». Сейчас Четырехместная карета так углубилась в тщательное обметывание кружков английской прошивки, наметанной на длинную полосу батиста, что и не видит того, что происходит в классе. А происходит нечто не совсем обыкновенное.

Перед Никой Баян лежит тонко разрисованная красками художественная программа. В ней малиновым шрифтом по голубому полю значится:

«Музыкально-вокально-танцевальный вечер, имеющий быть в пользу бедной сиротки в выпускном 1-м классе Н-ского института».

Затем следовали номера исполнения:

Арию Татьяны из оперы «Евгений Онегин» исполнит госпожа Козельская.

Марш «Шествие гномов», из оперы «Кольцо Нибелунгов» Вагнера исполнят в четыре руки госпожи Тольская и Сокольская

«Мечты королевы», стихотворение Надсона, прочтет госпожа Браун.

«Как хороши, как свежи были розы», стихотворение в прозе Тургенева, продекламирует госпожа

Веселовская.

Цыганские романсы под гитару исполнит госпожа Чернова.

И в заключение «Танцы – фантазии» исполнит босоножка госпожа Ника Баян.

Программа обещала быть крайне интересной. Ее составили накануне шесть заговорщиц во главе с Никой: Наташа Браун, Золотая Рыбка, Хризантема и Алеко с Земфирой. Составили по необходимости: наступила зима, а у Глаши, то есть у «Тайны», дочери института – ничего не было: ни теплого платья, ни сапог, ни галош, ни пальто. А малютка рвалась на прогулку. Решили сообща устроить вечер, первый платный вечер в институте, в пользу бедной сиротки, якобы проживающей в деревенской глуши.

Смелые Никины мечты полетели далеко. Было условлено просить начальницу назначить день, дать залу, разрешить пригласить родных, братьев, кузенов, устроить после вечера танцы. Ах, все это было так заманчиво и интересно! А главное, обещало известную сумму денег в пользу Глаши. Входные билеты были назначены по гривеннику. Сумма крохотная, в сущности, доступная каждому; она бы не стеснила никого, а для маленькой «Тайны» составила бы весьма и весьма многое.

Все это вихрем проносится в кудрявой головке Ники, пока она с сосредоточенным видом берет в руки карандаш и самым тщательным образом высчитывает, сколько может при-

нести денег этот вечер.

Вдруг на крышку тируара (пюпитра, на институтском языке) падает скомканная бумажка.

Ника вздрагивает и оборачивается назад.

С последней парты, приподнявшись над скамьей, ей кивает головой и машет руками возбужденная и красная, как мак, Шарадзе.

– Читай скорее! Читай скорее! – говорит её разгоревшийся взор.

Баян развертывает бумажку и читает:

«У Тайны порвались чулки, я заметила. Нет также и зубной щетки. Когда нынче Золотая Рыбка понесет обед, пошли с нею деньги Ефиму, хоть сколько-нибудь.
Дедушка Тайны Тамара Дуярова».

Едва успевает Ника дочитать последнюю фразу, как художавое лицо Осколкина обращается в ее сторону.

– Госпожа Баян, – звучит его спокойный, всегда немного иронический голос, – соблаговолите повторить хо, о чем я только что говорил.

Ах!

Ника мучительно краснеет. Менее всего любит она попадать в смешное и глупое положение. Она слишком горда и самолюбива и знает себе цену, эта юная, щедро одаренная природой Ника.

– Я не слышала, извиняюсь, я была занята другим, – говорит она совсем откровенно и просто.

Но учитель, по-видимому, далеко не удовлетворится таким ответом.

– Вы, госпожа Баян, так сказать, блистали своим отсутствием, – иронизирует Осколкин, – и это не похвально: такая добросовестная ученица и вдруг... Благодарю вас, – неожиданно обрывает он самого себя и чертит что-то в своей книжке.

«Четырехместная карета» волнуется. Отбрасывает изящную вышивку, и близорукие глаза приковываются Нике.

– Будьте внимательны, Баян, – взывает она резким голосом и тоном по-французски.

– Госпожа Тер-Дуярова, не пожелаете ли вы исправить ошибку вашей предшественницы... – обращается к Тамаре неумолимый Осколкин.

«У-у! Противный! Все высмотрит, все заметит!» – волнуется Ника, проворно пряча злополучную программу вечера в тируар.

Тамара еще менее «присутствовала» на уроке, нежели Ника. Вся малиновая, обливаясь потом, поднимается она со своего места.

– Вы говорили... Вы говорили про... Про Пушкина... – выпучив глаза, выжимает из себя она с трудом.

– Совершенно верно... Совершенно верно, госпожа Дуярова, – продолжает ее мучитель, – но о каком же из его произведений я говорил сейчас?

Глаза Осколкина неумолимы. Этот худой, болезненного

вида человек, – поэт и художник в душе, каких мало. Он искренно любит свой предмет и не прощает невнимания к великим классикам, которым свято поклоняется, как апостолам и носителям истинного искусства.

Заранее раздраженный предчувствием нежелательного ответа, он недоброжелательно поглядывает на Тамару, и два красные пятна ярко вспыхивают у него на щеках.

– Ну-с, госпожа Тер-Дуярова, я жду... Он ждет...

Бедная Тамара. Она меняется в лице со скоростью движения секундной стрелки. Ах, скорее бы спасительный звонок! У ее соседки, Ольги Галкиной, имеются черные часики под пелеринкой. Глазами, полными безнадежности, несчастная Шарадзе как бы спрашивает подругу:

«Сколько минут остается до звонка?»

Поняв эту богатую мимику, донна Севилья растопыривает под партой пальцы обеих рук.

Это значит: осталось еще десять минут.

Кончено! Все пропало!..

Шарадзе смотрит на учителя, выпучив глаза; учитель – на Шарадзе.

«Суфлерши» работают вовсю. По задним партам, подобно ропоту вечернего прибой, несется смутный шепот подсказки.

– «Капитанская дочка»... «Капитанская дочка»... Ну же, Шарадзе, говори.

Что произошло с бедняжкой Тамарой вслед за этим, она

и сама долго после этого не могла дать себе отчета. Ведь сколько раз читала она «Капитанскую дочку», сочувствовала Гриневу, восторгалась смелостью его невесты Марьи Ивановны, и вдруг... Сам нечистый впутался, должно быть, в это дело, но, вместо тщательно подсказываемого «суфлершами» названия «Капитанской дочки», из уст растерявшейся Тамары вырвалось совсем неожиданно:

– «Генеральская дочка»...

Раздается дружный смех всего класса. Убийственный, исполненный самого недвусмысленного сожаления взгляд со стороны Осколкина наградил растерявшуюся до слез девушку. За ним последовали другие, полные презрительной жалости взоры затем короткое, но полное значения «благодарю вас» и в клеточке классного журнала, против фамилии Тер-Дуяровой, водворилась жирная двойка.

– Я бы поставил вам значительно меньше, госпожа Тер-Дуярова, – сыронизировал учитель, – но в виду того, что вы повысили на целые три чина бессмертную «Капитанскую дочку», рука не осмелилась поставить вам ноль...

– О, несносный, он еще смеется... – чуть не плача, прошептала Тамара. – Да чем же я виновата, что так не кстати подвернулся язык? Не воображает ли он и на самом деле, что я не знаю «Капитанской дочки»?

Осколкин был смущен не менее девушки: такой ответ в первом выпускном классе! Он долго не может успокоиться. Его вознаграждает отчасти красивая декламация Черновой,

сильным грудным голосом скандирующей прекрасные выразительные строки «Полтавы»:

Богат и славен Кочубей,
Его поля необозримы...

Звонок к окончанию класса оглушительно звонит в коридоре. «Благодарю вас» наскоро расписывается в классном журнале, кланяется присевшим ему одним общим поклоне институткам и быстро исчезает из класса.

– В пары! В пары! – высоким тонким голосом, совсем не подходящим к ее полной комплекции, взывает m-lle Оль.

Воспитанницы становятся в пары. Все более или менее оживлены. Наступил час обеда, с нетерпением ожидавшийся проголодавшимися институтками.

За последним столом выпускного класса особенно оживленно. Здесь строят планы предстоящего вечера. Выбирают депутацию, кому идти к начальнице просить разрешения на устройство вечера.

– Ты пойдешь. Ты должна идти, Никушка. Ты ее любимица. Для тебя она сделает все, – безапелляционно решает донна Севилья.

Наташа Браун, Хризантема и Шарадзе поддерживают Ольгу. По лицу Ники скользит довольная улыбка, она знает симпатию к ней начальницы и сама платит самой горячей и неподкупной привязанностью «таман», как называ-

ют Марию Александровну Вайновскую, начальницу Н-ского института, ее питимицы.

Ну да, конечно, она пойдет к «генеральше», чтобы лиш- ний раз увидеть эту высокую, стройную фигуру, это прекрас- ное, полное задушевности, лицо и эти глаза, строгие и лас- ковые в одно и то же время.

Пойдет и прихватит с собой энергичного черненького Алеко, Мари Веселовскую, как «образцовую» и еще кого-ни- будь.

– Сегодня же пойдем, в большую перемену, – решают де- вушки.

– Mesdames, что за гадость! Есть невозможно! – и стек- лянный голос Золотой Рыбки звучит плохо скрытым отвра- щением с дальнего конца стола.

– Хризантема! Муська! Разбойница ты этакая! Что ты да- ла мне в лимонадной бутылке?

Лида Тольская, только что энергично действовавшая под столом над переливанием супа из своей тарелки в бутылку от лимонада, которую должна была вместе со вторым и тре- тьим блюдом отнести после обеда в каморку Бисмарка для Тайны, делает отчаянное лицо. Она только что попробова- ла содержимое бутылки, отлив его немного на ложку, и те- перь ее начинает мутить от отвратительной приторно-соле- ной жидкости.

Хризантема смущается. У нее совсем испуганное и рас- строенное лицо.

– Что такое? Я ничего не понимаю. Ты просила дать бутылку с лимонадом; я и дала... Оставила тебе половину. Хотела поделиться с тобой... У меня со вчерашнего приема сохранена. А ты туда супу налила! Несчастливая!

– Ах, Боже мои! Так вот почему такая гадость!

– Суп с лимонадом! Недурное сочетание! Ха, ха! Бедная Тайна! Хорошеньким супцем ее намеревались угостить. – Шарадзе, донна Севилья, Ника и Алеко неудержимо хохочут.

Теперь наступает очередь Золотой Рыбке смущаться и краснеть. Но Лида Тольская не такова, чтобы легко смущаться.

– Ха, ха, ха! Непростительная рассеянность, – звенит смехом ее стеклянный голосок.

И тут же под сурдинку она продолжает свою работу под столом. Опорожнив бутылку, она снова наполняет ее супом, уже без примеси лимонада на этот раз.

За вторым блюдом Ника Баян великодушно отказывается от своей порции антрекота в пользу Тайны, и жирный кусок говядины, положенный между двумя ломтиками хлеба, исчезает между страницами задачника Малинина и Буренина при ближайшем и благосклонном участии той же Золотой Рыбки.

С третьим, сладким блюдом, история выходит много сложнее. На третье блюдо подают бланманже. Ознакомившись с меню обеда еще поутру, Золотая Рыбка захватила

из класса кружку для питья, которая могла с успехом поместиться в глубоком институтском кармане. В нее-то и пере-кладывается с тарелки бланманже.

– Ну, вот... У нашей Тайночки будет нынче прекрасный обед, – со вздохом облегчения вырывается из груди Лиды Тольской.

– Только, ради Бога, не попадись Ханже. Она всегда по нижнему коридору в большую перемену странствует... – предупреждают Лиду подруги.

– Ну, вот еще! Да что я о двух головах, что ли?

– Mesdam'очки, новая шарада, слушайте, – стуча вилкой по столу, возвышает голос Тамара, – что это: пять братьев разных возрастов, ходят почти всегда голые, но в шляпах и всегда вместе. А если одеты, то в одно платье. Любят все трогать.

– Знаю, знаю: пальцы, – хохочет Хризантема.

– А ты зачем говоришь? Ты знаешь; другая не знает. Всю обедню испортила.

Тамара искренне злится. Она не любит, когда отгадывает кто-нибудь ее шарады и загадки. А когда злится Тамара, то незаметно начинает говорить с акцентом. Слово «обедню» она произносит «обэдну». И это выходит забавно и смешно. Институтки смеются на этот раз несдержанно и громко.

Близорукие глаза «Четырехместной кареты» замечают чрезвычайное оживление, господствующее за последним столом. Насторожившееся ухо слышит веселые взрывы сме-

ха. М-ле беспокоится и, встав из-за стола, направляется туда.

– Mesdames, тише. «Карета» катится. Тссс!

Слава богу, конец обеда: звонок к молитве.

С бутылкой из-под лимонада и с кружечкой бланманже в кармане, с задачником Малинина и Буренина, чудесно укрывшим в себе завернутый в бумагу антрекот, Золотая Рыбка бочком, между столами, прокрадывается к выходу, пока весь институт стоит на молитве. Вот она уже почти достигла двери... Вот незаметно очутилась возле нее.

– Ах!

Перед испуганной девушкой, словно из-под земли, вырастает инспектриса.

– Куда?

Золотая Рыбка бледнеет. Задачник падает у нее из рук на пол и – о, ужас, – раскрывается на том самом месте, где лежит обернутый в жирную просаленную бумагу злополучный антрекот.

– Боже мой! Все пропало! – в искреннем отчаянии лепечет бедная Лида.

Маленькие глазки Ханжи остро впиваются в побледневшее личико молоденькой девушки.

– Это еще что за новости? Куда вы несли этот ужас?..

– Это... Это... Не ужас... Это антрекот... Я не смогла съесть его за обедом... – лепечет Тольская, – я оставила «на после», и меня нет аппетита в двенадцать часов, он появляется к двум...

– Кто появляется к двум? – сурово сдвигая брови, спрашивает инспектриса.

– Аппетит... – покорно и жалобно срывается у Золотой Рыбки.

Кругом не в силах удержать смеха. Одноклассницы и «чужестранки», воспитанницы других классов, толпятся кругом. Напрасно классные дамы выходят из себя, силясь удержать на месте институток, их так и тянет к своеобразной группе у дверей.

Окинув своим всевидящим оком тщедушную, хрупкую фигуру Золотой Рыбки, Гандурина замечает странно оттопырившийся Лидин карман... Еще минута, и костлявые пальцы инспектрисы протягиваются к нему.

– Это еще что такое? Бутылка? Вы спрятали вино? Пиво? Что? – и она с торжествующим смешком злорадства извлекает из кармана Тольской злосчастную бутылку с бульоном.

В первое мгновенье инспектриса молчит, пораженная сюрпризом, но через минуту обретает дар слова раздражается целой тирадой.

– Так и есть – желтый цвет – вино! И как тонко придумано: слить его в бутылку от лимонада. Нечего сказать, хорош пример для остальных! Молодая девица, выпивающая за обедом, как кучер или кухонный мужик!.. Мне жаль ваших родителей Тольская. Вы окончательно погибли. Надо много молитвы, много раскаяния, чтобы Господь, Отец наш Небесный...

– Ах, Господи, – истерически вскрикивает Лида и, не выдержав, закрывает руками лицо и раздражается громким рыданьем, – зачем раскаяние, когда... Когда это не вино... а суп... Бульон, самый обыкновенный бульон...

– Суп? Бульон, вы говорите? А это что? – И быстрые пальцы инспектрисы снова погружаются на дно Лидинового кармана. – А это что? – Ах! – В тот же миг Гандурина отдергивает пальцы, и все лицо ее выражает последнюю степень брезгливости и отвращения. Рука ее попала в холодную, студенистую, подвижную массу бланманже, находившегося на дне Лидишой кружки, и она приняла эту массу за лягушку.

Слезы Тольской стихают мгновенно. Злорадная улыбка искажает миловидное личико.

– Не трогайте, m-lle, – просит она, глядя на строгое лицо инспектрисы.

– Ля-гу-ш-ка!

Это уж чересчур. Чаша терпения переполнилась сразу. Юлия Павловна вся так и закипает негодованием.

– M-lle Оль, – зовет Гандурина классную даму первого класса, – полюбуйтесь на этот экземплярчик, на вашу милейшую воспитанницу. Не угодно ли взглянуть на нее... И это называется – барышня! Выпускная институтка! Благовоспитанная девица! Пьет вино да обедом, прячет в карман лягушку!.. Ступайте, в наказанье, впереди класса. Вы наказаны... Какой стыд! Вы, большая, заслуживаете наказания, как какая-нибудь седьмушка. Стыд и позор!..

И слегка подтолкнув вперед Лиду, возмущенная Гандурина, брезгливо поджимая губы, двумя пальцами берет в одну руку задачник с антрекотом, все еще благополучно находящимся среди его страниц, в другую – бутылку с супом и торжественно, как трофеи победы, несет их к ближайшему столу.

– Все будет передано татап, – шипит она, сопровождая слова свои убийственным взглядом.

– Что такое? Что у вас в кармане? – волнуясь, сильно побагровев пристает к Золотой Рыбке добродушная Анна Мироновна.

– Ах, оставьте меня. Из-за вас всех Тайна осталась без обеда, – снова раздражается истерическим плачем бедняжка Тольская.

– Но откуда у вас лягушка в кармане? – не унимается «Четырехместная карета».

– Какая лягушка – крокодил! Нильский крокодил у меня в кармане! – рвется громкий истерический вопль из груди маленькой девушки, и она плачет еще несдержаннее еще громче.

Теперь уже никто не смеется. Все испуганы и поражены... Всегда сдержанная, скупая на слезы, веселая, здоровенькая Лида Тольская рыдает неудержимо. Кругом нее волнуются, суетятся, утешают. М-ше Оль, взволнованная не менее самой Лиды, мечется, щуря свои близорукие глаза, требует воды, капель...

Валерьянка, Валя Балкашина, извлекает из кармана разбавленный водой бром, имеющийся у нее всегда наготове, и английскую соль.

– Вот, возьми, Лида, прими... Нюхай... – шепчет она взволнованно.

– Душка, не обращай внимания на Ханжу, – шепчет с другой стороны Хризантема, верная подруга Золотой Рыбки, Муся Сокольская.

– Ангел! Дуся! Мученица! Святая!.. – лепечут седьмушки и шестушки, обожательницы Лиды, пробираясь мимо столов «первых» к выходу из столовой. С восторгом и сочувствием смотрят они на Лиду, с ненавистью и затаенной злобой – на инспектрису.

– Перестань плакать, Лида, – неожиданно звучит низкий грудной голос Алеко-Черновой. И смуглая сильная рука девушки ложится на плечо трепещущей в слезах Золотой Рыбки. – Право же, не стоит тратить слезы по таким пустякам. Мало ли, сколько большого серьезного горя ожидает всех нас в жизни. А мы заранее, убиваясь по мелочам, тратим богатый запас сил души. Перестань же, не стоит, Лида, право не стоит... Надо уметь побеждать себя. Надо уметь хранить душевные силы для будущей борьбы...

Что-то убедительное, искреннее звучит в голосе энергичной девушки. Что-то такое, что невольно передается рыдающей Тольской и словно гипнотизирует ее. Слезы Лиды прекращаются, рыдания переходят в тихие, редкие всхлипыва-

ния.

– Да... Да... Я сама знаю... Глупо, что реву, как девчонка... – лепечет она.

– Успокоились? – язвительно вопрошает Ханжа, снова приближаясь к девушке. – Истерика вышла неудачно... Напрасно старались. У воспитанной барышни не может быть и не должно быть никаких истерик. И жалея маман, а не вас, конечно, я ничего не передам ей на этот раз, но... В следующее воскресенье в наказание за все ваши дерзкие выходки вы останетесь без приема родных, – замечает Гандурина и, наградив Тольскую негодующим взглядом, исчезает из столовой.

Общий вздох облегчения вырывается у всех тридцати пяти девушек. Даже Анна Мироновна Оль облегченно вздыхает. Она снисходительна и мягка своим юным воспитанницам и, где может, покрывает их, и с инспектрисой у нее, вследствие этого хронические нелады.

Между тем выпускные поднимаются в классы. Капочка Малиновская шепчет по дороге, шедшей с ней в паре и все еще продолжавшей всхлипывать, как не утешившийся после перенесенного наказания ребенок, Тольской:

– А все это потому произошло, что даром Божиим пренебрегаешь... Хлеб, пищу Господню, в учебники суешь кое-как... Грех это... Взыщется за все... Ересь... Вот и...

– Ах, молчи, пожалуйста! И без тебя тошно.

Действительно тошно... И не одной Лиде Тольской, но и

всем остальным. Благодаря не удавшейся экскурсии Золотой Рыбки в сторожку Ефима, маленькая Тайна осталась без обеда. Неужели же ей придется довольствоваться сегодня жидкими невкусными щами и кашей, которые получает из казенной кухни Ефим? Ведь маленькая Тайна не привыкла к такой грубой пище. Ежедневно ей носили обед с институтского стола. Бедняжка, она, наверное, голодна сейчас, ей хочется кушать, она ждет своей обычной обеденной порции. Что им делать теперь? Как помочь малютке? Все эти мысли волнуют не одну впечатлительную девичью головку: они не дают покоя никому из выпускных. Все остальное отошло на второй план.

Депутация к начальнице не состоялась: ее отложили более благополучного случая. Все грустны и встревожены. Все ждут исхода и не находят его.

Глава VIII

*«Т-а и-та обЪелась. У Т-а и-ты заболел животик.
Бисмарк просил кого-нибудь придти к нему...»*

Эту лаконическую записку, нацарапанную карандашом, принесла лазаретная девушка Даша, случайно встретившая Ольгу Галкину в коридоре, и вручила ее Нике Баян.

Был вечер. Воспитанницы готовили уроки к следующему дню.

– Mesdames, – встревоженная полученным известием, крикнула, вбегая на кафедру, Ника, – mesdames, нужно кому-нибудь идти в сторожку. Т-а и-та больна. Вот записка.

– Т-а и-та? Кто это такой? – спросила Балкашина.

– Неужели не догадываетесь, – сердито ответила Ника.

– А! Т-а, это – Тайна, а и-та – это института! – хлопая в ладоши воскликнула Шарадзе, довольная своей находчивостью. – Значит, это наша Тайна больна?

– Да, да, да! И Севилья из предосторожности написала «Т-а и-та», чтобы никто не догадался... Тайна больна, – продолжала Ника. – Надо ее сейчас навестить... Мы пойдем к ней на этот раз только двое: я и Валя Балкашина. Она кое-что смыслит в лечении. Так будет безопаснее. Да и двое мы не потревожим малютку. Ах, подумать страшно, чем и как она больна. Пойдем скорее к ней, Валя!

Худенькая девушка бессильно кивает головой, потом, приподняв крышку пюпитра, долго копошится у себя в ящике. Слышится звон склянок... Бульканье капель, какой-то шорох...

– Ну что, Валерьяночка, идем?

– Конечно, Ника, конечно...

– Только возвращайтесь скорее, mesdames. Не мучайте, – слышатся вокруг них взволнованные голоса остальных воспитанниц. – А то мы тут, Бог знает что будем думать о болезни Тайны. Мучиться, волноваться.

– Да поцелуйте ее от тети!

– От бабушки!

– От мамы!

– От тети!

– И от меня!

– И от меня!

– Ото всех, ото всех поцелуем, не беспокойтесь, – спешат Ника и Валя заверить в один голос подруг.

– От меня увольте, пожалуйста, не надо, – брезгливо тянет Лулу Савикова.

– Ах, пожалуйста, не трудись. Очень нужны Тайночке твои препротивные поцелуи!.. – неожиданно вспыхивает Баян.

– Какое выражение. Fi donc!¹⁶Стыдитесь, Баян, – жеманно поджимая губки, цедит Лулу, и все ее худенькое продолго-

¹⁶ Фу!

ватое лицо изображает пренебрежение и брезгливость.

– Ну, уж молчите, m-lle Комильфо, не до выражений тут, когда Тайночка больна, – сердится пылкая Шарадзе.

– Какое мне дело до нее... – пожимает снова Лулу плечами.

– Конечно, тебе нет дела до Тайны... Ты ее мачеха, ты ее не любишь нисколько... – горячится Золотая Рыбка, и глаза ее загораются и сверкают, как угольки. – И за это тебя ненавижу, да, ненавижу, прибавляет она совсем уже сердито.

– Какие у вас грубые манеры, Тольская, – презрительно бросает Лулу.

– Зато есть сердце, – вступается за подругу Хризантема, – а у тебя, вместо сердца, кусок приличия и больше ничего.

– Да не ссорьтесь вы, mesdam'очки! Брань и ссоры – ересь и грех, противные Богу, – стонет со страдальческим лицом Капа Малиновская.

– Mesdamts, довольно. Мы идем.

И Ника Баян с Валею Балкашиной, взявшись под руку, исчезают из класса.

В среднем классном коридоре все тихо и пустынно в этот вечерний час. Двери всех отделений закрыты плотно. Институтки всех классов погружены в приготовление уроков к следующему дню. Только за колоннами на площадке лестницы, у перил, мелькает какая-то серая фигура.

– Это Стеша... Бежим к ней... От нее узнаем все. Очевидно, она нас здесь поджидала, – срывается с губ Баян, и

она стрелой мчится на лестницу.

– Стеша! Милая! Голубушка! Что с Тайночкой? Говорите, говорите скорее, не мучьте... – лепечут чрез минуту, перебивая одна другую, Ника и Валя.

Глаза у Стеши заплаканны. Кончик вздернутого носа покраснел и распух от слез.

– Барышни... Милые барышни... Мамзель Баян... Мамзель Балкашина... Несчастье с Глашуткой нашей... Уж такое несчастье!.. Уж как и сказать, не знаю!.. – всхлипнула Стеша, утирая передником лицо.

– Ну же! Ну! Какое несчастье? Говорите скорее.

– Отравилась Глашутка наша, – чуть слышно лепечет Стеша.

– Отравилась! Господи! Что еще! Каким образом?

Но Стеша молчит, не будучи в силах произнести ни слова, и только тихо, жалобно плачет.

Ника Баян с выражением ужаса смотрит на Валю. А у той разлились зрачки, и глаза округлились от испуга.

– Господи! Отравилась! Этого еще недоставало? Скорее, скорее к ней!

Снова схватились за руки и мчатся по лестнице вниз. И кажется, теперь никакая сила не сможет их остановить.

Уже за несколько саженей до сторожки девушки поражены тихими, жалобными стонами, несущимися оттуда.

Не теряя ни минуты, они мчатся к сторожке.

– Отворите, Ефим, это мы! Отворите! – стучит Баян у две-

ри в каморку.

В тот же миг поворачивается ключ в замке, щелкает задвижка, и девушки входят в каморку.

Их встречает испуганный, взволнованный Ефим. Очки сползли у него на кончик носа. Старые близорукие глаза бегают из стороны в сторону.

– Голубчик Бисмарк, что случилось?

– Да плохо, барышни. Дюже плохо... Думаю ее к ночи в больницу везти... Как поулягутся все, проскочим как-нибудь задним ходом, – говорит он, тихим убитым голосом.

– В больницу? Ни за что!

Этот крик вырывается так непроизвольно и громко из груди Баян, что и старик Ефим и Валя Балкашина шикают и машут руками.

– А как же быть-то иначе? А коли помрет Глашутка-то? Куды я с мертвым-то телом денусь? – снова глухо произносит Ефим.

Жестом отчаяния отвечает ему Ника и проходит за ситцевую занавеску. Там, раскидавшись на постели, в жару мечется Глаша. Глаза ее странно блестят. Личико вытянулось и заострилось за несколько часов страданий. Ручонки судорожно дрожат, конвульсивными движениями пощипывая край одеяла.

С невыразимой нежностью склоняется над пышущим жаром личиком Ника Баян.

– Детка моя... Тайночка милая. Ты узнаешь свою бабушку

Нику?

Глаза Глаши широко раскрыты. Запекшиеся губки тоже... Из тяжело дышащей груди вырываются звуки, похожие на свист. Она как будто видит и не видит склоненное над ней с трогательной заботой личико.

Ефим говорит в это время Вале:

– Уж такая напасть, такой грех, не приведи Господи. Взял я это газету после обеда... Дай почитаю, думаю... Что там у сербов делается да что господин король Фердинанд у братушек наших болгар. Опять же император Вильгельм заинтересовал меня своей политикой... А эта проказница, прости Господи, банку-то, что ей нынче с помадой барышня Лихачева подарили, утащила за занавеску, помаду-то всю выщарапала из банки, на булку намазала, ровно масло какое, да и съела... Ну, как тут не отравиться да не помереть... Часа не прошло, как начались колики да рвота. Плачет, стонет, мечется, того и гляди, весь институт переполошит. Уж я и так и этак... Понятно, в толк; не берет. Куда ей бедняжке...

– Господи! Господи! – вздыхает с отчаянием Валя. – Как страдает бедняжка Тайна!.. Постараюсь хоть как-нибудь, успокоить ее... – и, проворно вынимая из кармана пузырек с каплями, Валя требует воды и рюмку и, отсчитав ровно десять капель, подносит рюмку к запекшемуся ротуку Глаши.

Но той не проглотить лекарства. Она закидывает голову назад. Белая пена выступает у девочки на губах. Из маленькой грудки вырывается хрип.

– Она умирает! – с ужасом шепчет Ника.

– Эх, барышни, говорю я: в больницу ее надоть... Не то и себя и меня, старика, погубите...

И сидящая, остриженная коротко по-солдатски голова Ефима с сокрушением покачивается из стороны в сторону.

Все трое стоят безмолвно и смотрят в изменившееся личико больной. Первая приходит в себя Ника.

– Наверное, все произошло оттого, что она проголодалась... Мы виноваты во всем, мы не сумели доставить ей нынче обед. И она... Она набросилась с голоду на эту гадость – помаду... – с большим трудом произносит, волнуясь, Ника.

– Ну, уж неправду изволите говорить, барышня, сыта она у меня завсегда бывает... – вступается Ефим. – И щи, и кашу вместе хлебаем. Уж такая, стало быть, проказница она: что ни увидит, все в рот тащит, не догляди только.

Глухой стон срывается с запекшихся губок больной. Обе девушки кидаются к Глаше и склоняются над ней.

– Тайночка... Милая Тайночка, тебе очень больно, да?

В ответ звучит новый стон, и конвульсивные движения крохотных ножек красноречивее всяких слов говорят о непосильных страданиях ребенка.

– В больницу бы... – снова робко заикнулся Ефим.

– Нет! – резко и властно срывается с уст Ники. – Не пушу я Тайночку нашу ни за что в больницу. А доктора привести сюда надо, непременно сюда, – неожиданно прибавляет она.

– Да как же его достать-то?

– Я уж знаю, как. Нашла выход. Слава Богу! – Лицо Ники внезапно принимает выражение решимости. Заметная черточка намечается между бровей.

– Валя, останься здесь и жди моего возвращения. Ручаюсь, что через час здесь будет доктор и спасет нашу крошку, – обращается она уверенным тоном к Балкашиной и, бросив тревожный взгляд на больную малютку, выскальзывает за дверь быстро и неслышно...

* * *

Теперь Ника быстро шагает с опущенной на грудь головой по нижнему коридору, поднимается во второй этаж, вступает в классный коридор, минует стеклянную дверь своего выпускного класса и останавливается у порога второго.

За стеклянной дверью усиленно занимаются их соседки второклассницы. Нике видны отлично поэтичное, полное таинственного обаяния личико княжны Зари Ратмировой и смуглое лицо красавицы грузинки Мары Нушидзе. Они обе склонились над одним учебником и не видят стоящей у дверей Ники... Но и она не смотрит на них. Ее глаза прикованы к кафедре. За ней, положив локти на стол и склонив над книгой голову, сидит молодая еще девушка, лет двадцати восьми, в синем форменном платье, какие обыкновенно носят классные дамы. Это – «Спартанка», классная дама второго класса, здоровая, прямая, честная натура, с добрым отзыв-

чивым сердцем, нормально строгая, всей душой любящая свое дело, дело преподавания и воспитания, и, еще более него, своих воспитанниц. Ника, как и весь институт, безгранично любит эту милую Зою Львовну и верит ей и в нее.

И сейчас, пораженная болезнью Тайны, девушка всей душой тянется к доброй Спартанке. Так называют Зою Львовну за ее простой образ жизни, ровное настроение и вечную бодрость. Ника знает, инстинктивно чувствует, что только, одна она, эта самая Спартанка, может спасти их Глашу. И ее глаза, исполненные смутной тревоги, стараются обратить на себя взгляд классной дамы.

Последняя замечает, наконец, Нику у дверей, быстро встает, сходит с кафедры и идет к ней.

– Ника Баян, что с вами? Вы так бледны.

Голос Спартанки полон тревоги. Смертельно бледное личико всеобщей любимицы института беспокоит ее. Ника бывает так редко встревоженной и несчастной; ее удел – смех и радость, и это знает весь институт.

Вместо ответа Баян хватает руку Зои Львовны и увлекает ее подальше от дверей класса, в темноту лестничной площадки. Здесь она останавливается и, внезапно быстрым и легким движением опускается на колени перед своей спутницей.

– Милая Зоя Львовна, ангел наш! Спасите жизнь одной маленькой девочке... Она умирает... – рвутся заглушенные в шепоте звуки встревоженного и юного голоса.

– Ника! Голубчик! Да встаньте же! Встаньте, что с вами? – невольно волнуется и сама Зоя Львовна.

– Не встану, пока вы не дадите мне честное слово, что не скажете никому того, что сейчас услышите от меня, – смело и твердо продолжает первоклассница.

– Если это не вредное, не гадкое что-нибудь, то даю вам честное слово – не скажу.

– Зоя Львовна, могу я сделать что-нибудь вредное и гадкое? – быстро поднимаясь с колен, спрашивает Ника.

Молодая наставница Зоя Львовна смотрит с минуту пристально в честные глаза Ники и на вопрос последней, может ли она сделать что-нибудь дурное, твердо отвечает.

– Нет.

– Благодарю вас, – тихо роняет Ника. Я – ненавижу ложь больше всего на свете. А пришлось бы вам сказать неправду, если бы я услышала от вас другие слова.

И тут же, держа обе руки Зои Львовны в своих, она скоро, коротко рассказала ей всю историю Тайы-Глаши, с самого дня водворения ее в гостеприимной сторожке до последнего рокового случая со съеденной нынче «отравой».

Едва дав закончить Нике исповедь, Зоя Львовна заговорила, волнуясь:

– Бедная девочка! Несчастливая малютка! Теперь я, понимаю, почему вы обратились ко мне. Вы вспомнили, что у меня есть брат-доктор, отзывчивый, чуткий, который прилетит по первому моему зову сюда. Вы не ошиблись, дорогое дитя,

Митя приедет тотчас же. Но если он найдет необходимым перевести девочку в больницу, вы должны будете уступить...

– Конечно... – роняет глухим голосом Ника. – Только пригласите его поскорее, ради Господа Бога...

– А теперь, раз вы посвятили меня в вашу тайну и приобрели к числу заговорщиков, то ведите меня к вашей больной приемной дочке. Там я напишу письмо брату, которое и пошлю с Ефимом, – со скрытой улыбкой, всеми силами стараясь сохранить спокойствие, произнесла Зоя Львовна.

* * *

О, какой мучительный, полный тревоги, час ожиданий! Стоны и судороги Глаши, хрип и бред девочки то и дело заставляли вздрагивать юных девушек, в молчаливой тоске ожидания замерших у ее постели. Согревающий компресс, положенный на маленький, истерзанный страданием животик, ничуть не помог больной. Не помогли и успокоительные капли, которые вливала ей в ротик через каждые четверть часа Валя.

Ефим, испуганный было неожиданным появлением в его сторожке классной дамы, сразу успокоился после первого же слова Зои Львовны и помчался за доктором, жившим в одной из ближайших улиц. В его отсутствие Спартанка отсылала не раз обеих воспитанниц наверх в классы, но ни Ника, ни Валя не трогались с места.

– Нет, нет, ради Бога, не гоните нас, – трогательно молили обе девушки, – мы не в состоянии уйти до приезда доктора отсюда.

– А если Анна Мироновна заметит ваше исчезновение из класса?

– Ах, не все ли равно, когда наша Тайночка может каждую минуту умереть.

– Но зачем такие беспросветные мысли, мои девочки!

– Вы ведь видите сами, что с ней... Уж скорее бы приехал доктор.

На глазах присутствующих все заметнее изменялось личико Глаши, все лихорадочнее и горячее становились ее уходившие с каждым мгновением глубже и глубже в орбиты глаза, и все сильнее хрипела маленькая грудка, все чаще и чаще поводили судороги тельце ребенка. Глаша по-прежнему находилась без сознания. Белокурая головка металась по подушке. Глаза стали огромными на осунувшемся и исхудалом до неузнаваемости личике.

– Она умрет... Умрет непременно... – прошептала чуть слышно Ника и закрыла руками исказившееся страданием лицо.

Как раз в эту минуту тихо постучали у двери. Стройный, высокий брюнет, как две капли воды похожий на Зою Львовну, наклоняясь на пороге для того, чтобы не стукнуться о притолоку низкой двери, входил в каморку. За ним на почтительном расстоянии следовал Ефим.

– Здравствуй, Дмитрий!

– Добрый вечер, Зоя.

Брат и сестра поздоровались. Потом Спартанка представила брата обеим девушкам.

Все четверо снова подошли к постели Глаши. Долго и внимательно осматривал больную малютку молодой врач. Выстукивал, выслушивал, измерял температуру, затем на клочке бумажки написал рецепт. Наконец, повернувшись к институткам, не помнившим себя от волнения, произнес спокойно:

– Не надо отчаиваться раньше времени. Положение серьезное, не скрою. Но... Постараюсь сделать все чтобы уцелела ваша любимица. А что она любимица ваша, не надо и говорить: вижу по глазам, – с доброй улыбкой, желая успокоить девушек, произнес доктор.

– Милый, добрый, хороший, золотенький, спасите ее!

Непроизвольно и непосредственно вырвался этот глухой вопль из груди Ники в то время, как глаза ее, обычно веселые и шаловливо-дерзкие, теперь полные мольбы и страха, вперились в лицо молодого доктора.

– Я постараюсь сделать все, что от меня зависит, – повторил он. – А теперь советую вам уйти отсюда. Мы с сестрой и с этим почтенным старцем, – он указал на Ефима, – поухаживаем за вашей маленькой больной. Завтра утром наведайтесь, авось, девочке будет легче, Бог даст.

И он протянул поочередно руку Нике и Вале.

Глаза встревоженной Ники снова с надеждой и робостью остановились на лице доктора, потом обратились к Зое Львовне.

Та словно угадала значение этого взгляда.

– Успокойтесь, Никушка, – произнесла добрая Спартанка, – не волнуйтесь, ради Бога, и ступайте учить уроки... Я сменюсь с дежурства и пробуду здесь всю ночь. За вашей Тайной будет недурной уход, я вас уверяю, а пока...

Ника не дала ей закончить... С легким криком она упала на грудь Зои Львовны и обвила ее шею руками:

– Вы великодушны! Вы золото! Не даром же мы все так любим вас, – шептала она, покрывая градом поцелуев лицо, глаза и губы наставницы. Затем, взглянув еще раз на большую Глашу, Ника выбежала из сторожки.

Расцеловав в свою очередь Спартанку, Вала Балкашина последовала за ней.

О, то была ужасная ночь!

Никто не ложился нынче спать в выпускном дортуаре. Все, по уходу Анны Мироновны, собрались в умывальной, дрожа от холода и волнения, в одних длинных ночных рубашках, босиком. Золотая Рыбка не находила себе места от угрызений совести. Не попадись она на глаза инспектрисе с этим злосчастливым обедом, наверное бы Тайне и на ум не пришло съесть такой ужасный неудобоваримый бутерброд. Но еще больше волновалась Маша Лихачева. Эта самым чистосердечным образом считала себя убийцей малютки Гла-

ши.

– Если бы не моя противная помада, она бы не умирала сейчас! – ударяя себя в грудь рукой, с отчаянием восклицала Маша, несмотря на все протесты подруг.

– Каяться надо... Каяться и молиться... На паперть церковную пойти... Сотню поклонов положить на каменных плитах... Дать обет какой-нибудь посерьезнее милосердному Богу, чтобы Он смилостивился, чтобы спас Глашу, – забубнил голос Капочки Малиновской у нее над ухом.

– Веди меня на паперть, Капочка, веди!

И Маша с последней отчаянной надеждой впилась глазами в невзрачную Камилавку, ища в ней поддержки и спасения.

Последняя, словно чувствуя себя сейчас госпожой положения, взяла за руку Машу и, не произнося ни слова, повела дрожащую от холода и страха девушку на темную паперть находящейся тут же в третьем этаже институтской церкви.

– Становись на колени! – придя туда, скомандовала Капочка, и первая опустилась на холодные каменные плиты пола.

А кругом девушек царили непроницаемый мрак и полная тишина, способствовавшие молитвенному настроению, охватившему сейчас обеих. Голос Капочки зазвучал глубоко и проникновенно, и с захватывающим чувством произносил слова молитвы. А Маша, словно загипнотизированная им, повторяла от слова до слова священные слова, произно-

симые подругой.

Вдруг тонкая струйка пряного аромата духов излюбленного. Машей Лихачевой «шипра» донеслась до Капочки. И она, как ужаленная, быстро вскакивает с колен, вся возмущенная, негодующая, злая.

– На паломничество, на молитву пришла, а сама этой мерзостью богопротивной насквозь пропитана, – зашипела Капочка. – Не смей душиться... Грех и ересь это... Молись и постись! – повелительным тоном обратилась она к Маше.

– Да... да... Конечно, я не буду душиться больше. Только и ты, Капочка, и ты молись вместе со мной... Я боюсь, что моя грешная молитва не дойдет до Бога. А ты – святая.

– Молчи! Молчи! Грех и ересь называть святым человека! – с искренним страхом срывалось с губ Малиновской.

И обе девушки, горячо зашептали молитвы, отбивая положенное число земных поклонов. Горячие головки то и дело припадали к холодному полу паперти, и нехитрые, полные непоколебимой детской веры молитвы, непосредственные и чистые, понеслись к далеким небесам.

А в умывальной выпускных царило в это же самое время совсем иное настроение. Все собравшиеся здесь институтки с напряженным вниманием ждали Стешу, которая должна была по уговору под утро принести вести из сторожки. Чтобы как-нибудь делаться от докучной мысли о возможной Глашиной смерти, девушки просили донну Севилью рассказать что-нибудь из ее испанского путешествия.

Ольга Галкина чрезвычайно довольна была просьбой. Испания, особенно Севилья, это – ее конек.

– И вот, mesdam'очки, – воодушевляясь, внезапно начинает рассказчица, – вообразите себе ажурные, высокие стройные здания, словно кружевные, отразившие на себе эпоху мавританского владычества... А вокруг сады... Ползучие розы и гранатовые деревья... Ах! Это такая красота! Все испанки – красавицы; все испанцы – рыцари! А их музыка... Их серенады! А бой быков!.. Восторг!

– А тебе пели серенады? – неожиданно огорошивает Шарадзе вопросом Ольгу.

Та мгновенно вспыхивает и краснеет. Неудержимо тянет прихвастнуть успехом перед подругами и в то же время не хочется лгать: а вдруг не поверят. Изведут насмешками, засмеют!..

– Да, пели... – словно борясь с собой, с зажмуренными на миг глазами, говорит она.

– А вот и не правда! Не пели, потому что тебе тогда было двенадцать всего лет. А поются серенады только в честь взрослых!

Шарадзе безжалостно хохочет, сверкает ослепительными зубами. Потом машет рукой.

– Mesdames, бросьте, не слушайте, она все сочиняет. Лучше разгадайте шараду. Что это будет: стоит гора, на горе – сакля, около сакли – виноградник. У ворот сакли – скамейка и на скамейке – девушка. Ну? Ни за что не отгадаете!

– Где уж нам! – иронизирует обиженная донна Севилья.

– Я так и знала, я так и знала, – торжествует Шарадзе. – А это, между тем, так просто разгадать: паспорт... Вот и все.

– Какой паспорт? – недоумевают подруги.

– Самый обыкновенный: вид на жительство. Корова, сакля, девушка, виноградник – все это вид на жительство, а вид на жительство это ведь паспорт. Ха, ха, ха!.. Не остроумно разве?

– Удивительно остроумно! – шипит Ольга Галкина.

– Mesdames, смотрите ночь-то какая! – шепчет в восторге Хризантема, поднимая штору и впиваясь глазами в круглую полную луну.

– До Рождества меньше месяца осталось... Все разъедутся, а мы останемся... И что за глупый обычай, В сущности, оставлять на каникулы и праздники выпускных воспитанниц. Скучно-то как будет!

– Не весело, конечно, что и говорить.

– Кто-то идет, mesdam'очки...

– В ушах у тебя ходит кто-то... Не пугай понапрасну, и так тяжело.

– Оля, милая, расскажи про бой быков в Испании, все-таки уьем время.

– Нет, нет, не надо. И так нервы натянуты, а ты – с быками!

– У Балкашиной валерьянка с собой. Прими.

– Mesdames, если наша Тайна умрет, душа ее, чистая, святая, поднимется на крыльях ангелов к престолу Бога, – слов-

но серебристый ручеек, звенит своим хрустальным голоском
Золотая Рыбка.

– Типун тебе на язык. Вот выдумала тоже! Умрет! Она не смеет умереть! Она должна жить! – горячо и страстно вырывается у Ники.

– Тише, mesdames, тише. Идут...

На этот раз никто не протестует. В коридоре ясно слышатся приближающиеся шаги. Кто-то словно крадется, осторожно шурша накрахмаленным платьем.

– Стеша... Она это. Но почему не утром? Почему сейчас? Значит... Значит, все кончено...

И тридцать слишком пар глаз устремляются с тревожным и жадным любопытством навстречу приближающейся Стеше.

– Что, Стеша, что? Умерла?.. Не мучьте, ради Бога. Скончалась? – бросаясь навстречу служанке, кричат институтки.

– Жива... Живехонька... Лучше ей, милые барышни! Много лучше...

О, какой восторг! Какая радость!

Сколько разнородных впечатлений пережито в этот короткий миг. Целуют Стешу, как вестницу радости, вестницу счастья.

Спасена Тайна! Милая, маленькая Глаша-Тайночка – спасена.

И три десятка девушек бросаются в объятия одна другой и радостно целуются, как в Светлый Праздник...

Глава IX

Медленно, незаметно подползли Рождественские праздники. Весь институт разъехался на каникулярные две недели, остались только выпускные воспитанницы да кое-кто из младших классов, из тех, кому дальность расстояний не позволяла уезжать далеко на такое короткое время.

Рождественские каникулы, это – время относительной свободы для институток. Встают на праздниках воспитанницы без звонков, а кому когда заблагорассудится. Ходят, одетые не по форме, со спущенными за спиной косами, в собственных «ботинках» и чулках. Классные дамы как-то добрее и снисходительнее в это время, мало взыскивают с провинившихся, еще меньше следят за своим маленьким народом. Жизнь, словом, выходит из своего русла и менее всего чувствуется пресловутая казенщина в праздничное время.

Елка для маленьких вышла на диво красивой в этом году. Сами выпускные украшали ее цветными картонажами, разноцветным цепями, пестрыми фонариками и золотым дождем. На второй день праздника было решено устроить музыкально-вокально-танцевальный вечер «в пользу бедной сиротки». Какой сиротки – никто, кроме первых, не знал.

В сочельник утром депутация выпускных направилась к тапан отнести программу.

Генеральша Марья Александровна Вайновская, краси-

вая, стройная пятидесятилетняя женщина, с седым начесом пышных волос и с юношески молодыми глазами, внимательно, зорким «всевидящим» оком просмотрела программу и издала тихое «гм» на строках, указывавших, что на вечере предполагаются, между прочим, танцы босоножки и цыганские романсы.

– Но... Но, *mes enfants*,¹⁷ босые ноги?.. Это не совсем удобно, как будто... – произнесла она краснея всем своим удивительно моложавым, без намека на морщины, лицом.

Ника Баян, старая и неизменная любимица начальницы, очаровательно смущаясь, выступила немного вперед.

– Но, *тамап*, я надену что-нибудь, если нужно. Я не буду плясать босая... Это говорится только – босоножка.

Добрые голубые глаза генеральши внимательно смотрят на девушку.

– Конечно, *mon enfants*,¹⁸ конечно. Все должно быть корректно. Я надеюсь на тебя.

Потом они беспокойно обращаются к смуглому личику и энергично сомкнутым бровям Шуры Черновой.

– А какие цыганские романсы ты будешь петь на вечере, дитя?

Шура усмехается. Сросшиеся брови чуть заметно вздрагивают над пламенными глазами.

– О, *тамап*, – говорит она, не колеблясь, – я буду петь са-

¹⁷ Дети.

¹⁸ Дитя.

мые красивые, самые поэтичные песни о полях, о лесе, о степях и кострах, привлекающих взоры среди вольных степей своими огненными точками. Я заставлю слушателей понять всю красоту дивных бессарабских ночей, где кочуют бродячие племена смуглых людей, где варят они, среди дыма костров, свою убогую и скудную пищу, где слагают свои звонкие прекрасные песни, те песни, о которых писать когда-то наш бессмертный поэт Александр Сергеевич Пушкин.

Начальница смотрит на разгоревшееся личико смуглого Алеко и благосклонно треплет Шуру по щеке.

– Хорошо. Я разрешаю этот вечер в пользу сиротки.

Потом она вынимает из портмоне десятирублевую бумажку и передает ее депутации.

– От меня... Маленькая лепта для бедной сиротки...

– О, тамап, вы – ангел!

Ника приседает первая, за ней остальные. Депутация возвращается наверх в классы, очарованная в конец любезностью Вайновской.

– Она прелесть! Восторг! Душка! Красавица! Добрая, великодушная... – шепчет Ника, и ей вторят остальные.

– Но вы не сказали, по крайней мере, в пользу какой сиротки устраивается вечер? – допытываются у депутатов остальные старшеклассницы.

– О, нет, конечно; тамап знает только, что это – племянница Стеши, круглая сиротка, которая живет в деревне, только и всего, – отвечает за всех благоразумная и тихая Ма-

ри Веселовская.

– Опять-таки пришлось солгать. И кому же, нашему ангелу, – тоскливо срывается с губ Ники.

– Попробуй сказать правду, и в тот же час и сторож Ефим, и все мы будем исключены.

– Конечно! Конечно! – раздается отовсюду. – И потом умалчивание, в сущности, не есть настоящая ложь. Скверно и это, но...

– Mesdames, идем зажигать елку у нашей Тайны.

– Сегодня Скифка дежурит. Берегитесь, дети мои!

– Вот вздор! Теперь праздники, и, слава Богу мы имеем большую свободу. Оставьте вашу трусость и идем.

В маленькой сторожке на столе горит крошечная елка. Выпускные сами украсили ее, зажгли разноцветные фонарики, разложили под ней подарки и лакомства.

Глаша, уже давно оправившаяся после своей недолгой, но смертельно опасной болезни, вся сияющая прыгает вокруг нарядного деревца. В глазах ее так и искрится безмятежная детская радость.

– Бабуська Ника, дедуська Саладзе, мама Мали, папа Сула, смотрите, смотрите – баланчик... – хлопая в ладоши и прыгая на одном месте, как козочка, указывает она на пушистого белого барашка, подвешенного к одной из зеленых ветвей елки.

– Радость наша! Тайночка! Ты не забудешь нас, когда мы уедем из института – говорит Ника, и град поцелуев сыплет-

ся на лицо Глаши.

Глаза крошки приковываются к лицу Ники, которая держит ее сейчас на коленях, и Глаша прижимается крепко к ней своей белобрысой головенкой. Больше всех своих случайных «тетей» и «родственниц» Глаша любит эту тонкую изящную девушку с открытым смелым личиком и бойкими лукавыми глазами, и старается подражать ей уже и льнет к ней всегда со своими ласками чаще, нежели ко всем другим.

И сейчас ей как будто страшно расстаться с этой хорошенькой молоденькой «бабушкой», которую Глаша теперь любит крепче дяди Ефима и тети Стеша. Ее личико туманится при одном напоминании о разлуке, и беспомощная гримаса коверкает ротик.

– Не пушу, бабуська Ника! Останься со мной! Не пушу! – с отчаянием лепечет малютка, и она готова расплакаться на груди Ники.

– Нечего сказать, хороша! Когда еще выпуск, а она за столько времени терзает ребенка! Педагогический прием тоже! – ворчит донна Севилья, сердито блестя глазами на Нику.

– Не плачь, моя прелесть! Не плачь! – так вся и встрепенулась Ника. – Слушай лучше, что тебе «бабушка» расскажет. Слушай, Тайночка: у нас послезавтра литературно-музыкальный благотворительный вечер. Ты конечно не понимаешь, что это значит, ну да все равно: будут читать... Ну, сказки, что ли... Петь, играть на рояле... Потом танцевать, кружиться под музыку... Соберется много гостей... И...

– Хочу туда! – неожиданно перебивает рассказчицу.

– Дочка моя, тебе нельзя...

– Хочу!

Это своеобразное «хочу» звучит как повеление.

Многочисленные «родственницы» и «тетушки» успели себе на голову избаловать свою общую любимицу. Глаша не знает отказа ни в чем. Естественно поэтому, что первым движением ее души является вполне законное, по ее детскому мнению, желание попасть туда, где будет пение, музыка, танцы.

– Хочу! Хочу! Хочу! – твердит она уже сердито и бьет каблучком по полу сторожки.

Ведь она не знала до сих пор отказа, не ведала предела своим желаниям ни в чем.

– Маленькая моя, золотко мое, невозможно это, – пробует урезонить свою расходившуюся «внучку» «дедушка» Шарадзе. – Хочешь, я тебе скорее загадку за гадаю?

– Не хочу! – отталкивает сердито, чуть не плача, крошечными ручонками Тамару девочка.

– Ну, я спою тебе что-нибудь. – И Эля Федорова затягивает вполголоса любимую песенку Глаши, фальшивя на каждой ноте:

Сквозь волнистые туманы

Пробирается луна,

На печальные поляны

Льет печальный свет она.

– Довольно, Эля, довольно! Сто сорок грехов тебе отпущится, если ты замолчишь сейчас, – шикают и машут на нее руками подруги.

– На цветочек, Тайночка. Возьми, смотри, какой хорошенький, пушистый... – говорит Муся Сокольская и самоотверженно отдает плачущей Глаше отколотый ею от лифа прелестный цветок хризантемы.

Лида Тольская протягивает ей барбарисовую карамельку и попутно обещает подарить ей самую крупную, самую лучшую золотую рыбку, какая только найдется у нее в аквариуме. Но Глаша не унимается и капризничает по-прежнему.

– Ну, ну, полно, внученька, полно, родная, – смущенно утешает ее встревоженный Ефим. – Полно при барышнях-то распускать нюни. Еще, не ровен час, услышат в коридоре, да сюда пожалуют.

Ничего не помогает, Глаша уже ревет благим матом.

– Эх, баловница. На голову себе ее избаловали, барышни... – безнадежно машет рукой Ефим.

Вдруг Ника вскакивает порывисто с места и, схватив обе ручки раскапризничавшейся Глаши в свои, говорит ей с большой убедительностью, с большим подъемом:

– О, ты будешь на вечере, Глаша, будешь непременно, только не плачь.

– Что такое? Что ты придумала, Никушка? Говори скорее, что? – теснятся вокруг Баян оживленные любопытством ли-

ца.

Но Ника молчит. На ее лице выражение чего-то таинственного, чего-то лукавого, а карие глаза шаловливо поблескивают.

– Да, да, mesdames! Я сделаю так, что наша Тайна будет на этом вечере. И это так же верно, как то что зовут меня Никой Баян, – говорит она весело и возбужденно. – Наверху, в дортуаре я вам изложу мой план подробнее.

– Дорогая моя, ты – героиня! – восторженно шепчет Зина Алферова, поклоняющаяся Нике, как маленькому боже-ству. – Я сразу почувствовала, что ты придумаешь что-нибудь особенное.

– А я предчувствую, что и влетит же нам за это «особенное» тоже особенно, дорогая моя, – в тон Зине говорит со смехом смугленький Алеко.

И вся группа «заговорщиц», поцеловав быстро утешившуюся Глашу, мчится из гостеприимной сторожки в дортуар.

* * *

Наконец-то он наступил, этот давно ожидаемый «благотворительный» вечер. В конце зала наскоро устроили эстраду, украсили ее тропическими растениями и покрыли красным сукном. За несколько дней до вечера были разосланы пригласительные билеты почетному опекуну института, все-

му начальству, родственникам и близким классных дам, воспитанниц и учительниц. Съехался кое-кто и из отпущенных на рождественские праздники институток, кто из любопытства, кто из желания щегольнуть нарядным «собственным» туалетом. И постепенно «средний» классный коридор наполнился разноцветными вечерними костюмами приехавших на вечер больших и маленьких воспитанниц и их родственников, матерей, сестер.

Среди этого цветника скромными пятнами выделялись синие вицмундиры попечителя, инспектора, учителей, эконома, изящные смокинги и сюртуки статских гостей и блестящие мундиры военных. Там и сям пестро мелькают мундиры студентов, юнкеров и кадет – братьев и кузенов воспитанниц, а между ними расшитые золотом мундиры пажей.

В зале бледный худощавый тапер бойко наигрывал на роле «на съезд» веселые мотивы модных танцев.

На площадке лестницы среднего этажа за небольшим столиком примостилась Зина Алферова, продававшая входные билеты. При ней находилась Неточка Козельская. На этот раз вечная сонливость и апатия покинули молодую девушку. Она оживилась. Краска неподдельного румянца юности бросилась на матовые щеки Неточки, и «спящая красавица» казалась в действительности красавицей.

– Пожалуйста, мне два билета. Для брата и для меня, – прозвучал сочный баритон над склоненной головкой Неты.

Она быстро подняла глаза, и взгляд ее встретился с откры-

тыми молодыми глазами одетого в форму студента-электротехника юноши. За ним шел румяный толстенький кадетик лет пятнадцати.

– Это братья Ники Баян, – успела шепнуть Нете Зина, когда студент и кадетик еще поднимались по лестнице.

– Не можете ли вы вызвать Баян, m-lle? – как бы в подтверждение ее слов, обратился к Зине Алферовой студент.

– Нета, ступай ты, я не могу, дорогая моя, оставить кассу.

Нета быстрой, далеко не соответствующей ее обычной медлительности, походкой направляется в дортуар. Там суматоха. Мечутся по длинной комнате неодетые растерянные фигуры. Пахнет пудрой, духами, паленым волосом. Маша Лихачева взяла на себя роль парикмахера. Вооружившись горячими щипцами, она в одно мгновение преобразует тщательно причесанные гладенькие головки в живописно растрепанные или завитые бараном, немилосердно распространяя вокруг себя запах гари.

Сейчас она причесывает Хризантему. Распустив роскошные белокурые косы последней, Маша завивает их нежные пряди на раскаленные щипцы и сооружает из них какую-то сложную прическу. Несколько человек со шпильками и ко-соплетками в руках уже ждут своей очереди.

– Ника! Баян! Где Баян, mesdames? – растерявшись кричит Козельская. – Ее братья приехали. Зовут ее вниз.

– Да что ты с неба что ли свалилась? Ника давно уже в музыкальном классе. Ее там сама Зоя Львовна одевает и приче-

сывает, – слышатся озабоченные голоса. – А что, у вас большой сбор в кассе?

– Ах, mesdames, – говорит возбужденно Неточка, и ее красивое лицо статуи снова зажигается жизнью, – барон Гольдер целые пятьдесят рублей за билет выложил!.. Мы с Зиной так и ахнули... Зина та совсем растерялась, вскочила со стула, отвесила реверанс да как брякнет: «Дорогая моя, мерси». Это почетного-то попечителя дорогой моей назвала! Как вам нравится? А?

– Ха-ха-ха! – смеются кругом.

– Маша! Лихачиха! Что у тебя было насыпано в кругленькой коробке? – с блуждающими глазами накидывается на миловидного парикмахера Золотая рыбка.

– Что было? Порошок зубной был. А что? – растерянно бросает ошалевший от работы парикмахер.

– Ну, вот... – безнадежно разводит руками Лида, – Это порошок, а я им щеки напудрила. Он розовый и пахло от него так вкусно. Думала – пудра. А теперь щиплет, Бог знает как.

– Смой, если щиплет – пустяки!

– Я уже два раза мыла. И так уже как сапог и лакированный, блестит вся моя физиономия.

– Вымой в третий раз. Не беда...

– Mesdam'очки, – стонет Тер-Дуярова, – нет ли какого средства от узких сапог? – и она, с видом мученицы, прихрамывая и хватаясь за встречные предметы, бродит по дорту-

ару.

– Носи широкие, только и всего, – подает совет кто-то из товарок.

Фрейлейн Брунс выходит из комнаты. Лицо у нее праздничное. Поверх затрапезного синего мундира-платья приколот к груди кружевной бант, и черненькая бархотка словно невзначай запуталась в волосах.

– Еще не готовы? – замечает она по-немецки. – Но ведь уже поздно. Все гости, должно быть, уже собрались.

Она желает еще что-то сказать, но обрывает фразу и багрово краснеет: ей попадается на глаза художественно причесанная, вся в бараньих завитушках голова донны Севильи.

– Галкина! Was ist den das fur Frisur!¹⁹

– Но ведь у нас праздники, – пробует оправдаться «кажущаяся испанка», благоразумно прикрывая, однако, прическу руками.

– Убрать эти завитушки! Убрать сию минут! Это – голова овцы, а не благовоспитанной институтки! Размыть водой, на помадить помадой... Сделай, что хочешь, но чтобы я не видела больше этих вихров!.. – заявляет решительным тоном Скифка и, совершенно уничтожив бедную Ольгу, держит путь дальше.

– Тер-Дуярова, это что за походка? Как ты ходишь? – обращается она к идущей ей навстречу армянке.

– У меня мозоли, фрейлейн Брунс.

¹⁹ Что это за завивка!

– Фи... У благовоспитанной девицы не должно быть мозолей. Носите Бог знает какую обувь, а потом страдаете... А что с вами, Лихачева? – неожиданно останавливаясь перед импровизированным парикмахером, восклицает Брунс. – У тебя весь нос в пудре. И ты...

Черненькая Маша роняет от неожиданности щипцы и попутно обжигает лоб Хризантемы.

– Ай!

Добрая половина пышной белокурой пряди волос остается на раскаленном железе. Невольные слезы брызжут из глаз Муси Сокольской.

– Так и сгореть недолго... Пугаете только... – Ворчит Лихачева и дует на обожженный лоб своей жертвы. – Ничего, душка моя, мы это колечком закроем... – утешает она пострадавшую.

– Что колечком? Нельзя колечком!.. – волнуется Августа Христиановна и, спохватившись, вспомнив сразу, раздражается целым потоком негодования. – От тебя духами за версту пахнет... Голова кружится от них... Чтобы не было этого... Ужас какой!

А в умывальной комнате Валя Балкашина, затаенная в рюмочку, с дико вытаращенными глазами пьет валериановые капли и нюхает соль.

– Меня тошнит... – признается она с тоской. Брунс сильно распускает на ней шнуровку.

В восемь часов звенит звонок, приглашающий в залу.

Все гости уже там. Все места давно заняты. Некуда яблоку упасть, как говорится.

С удовлетворенным видом Зина Алферова, подсчитав кассу, идет в зал. Хотя билеты продавались всего по двугривенному, но многие приглашенные ради сиротки платили за них впятеро высшую цену, а многие и того больше. Словом, в кассе набралось около трехсот рублей. Сумма, не только достаточная на обмундирование Глаши, но и на воспитание ее, по крайней мере, на первые годы воспитания, в каком-нибудь заведении для маленьких.

Между тем, вечер уже начался. На эстраде появилась Нета Козельская. Спящая красавица далеко не оправдывала сейчас данного ей подругами прозвища. Бледное личико прекрасной статуи теперь еще больше нежели во время бойкой торговли билетами раздурмянилось и оживилось...

Я вам пишу, чего же боле,
Что я могу еще сказать...

– стройно выводил молодой красивый голос Козельской арию Татьяны.

– Какая прелестная девушка! Какой богатый, очаровательный голос! – шептали почетные гости в первом ряду.

Теперь, конечно, в вашей воле
Меня презреньем наказать,

– пела дальше Неточка, и ее голубые, обычно сонные и неподвижные глаза разгорались сейчас, как звезды. А богатый переливами, красиво дрожащий голос разливался по всем уголкам огромного зала, привлекая внимание слушателей.

Но вот она кончила. Послышались аплодисменты. Из первого ряда ей улыбалось обаятельно доброе лицо начальницы. Одобрительно кивал, аплодируя, барон Гольдер, почетный опекун.

Смущенная и довольная сошла Нета с эстрады. На смену Чайковскому зазвучали мятежные, полные затаенной силы, звуки вагнеровского марша. Волнуясь, похолодевшими пальцами исторгали их из клавиш певучего рояля Золотая рыбка и Хризантема, две лучшие музыкантши института.

С чувством и с тонким пониманием исполняли они знаменитый отрывок из оперы «Кольцо Нибелунгов». Бледная от волнения Золотая рыбка и пылающая румянцем Хризантема тщательно сыграли в четыре руки вагнеровский марш.

И вот, во время их игры, под звуки марша тихо отворилась дверь большой залы, и на пороге ее появилась Валя Балкашина и Тамара Тер-Дуярова которые бережно вели за руки маленькую, одетую в розовое платьице, малютку-девочку лет пяти. Ее белокурые волосы были тщательно завиты и причесаны, а черные глазенки без тени смущения и страха поглядывали на всех.

Отделение приехавших сегодня на благотворительный ве-

чер в институт младших седемушек и шестушек, удивительно миловидных в их «собственных» платьях, с любопытством и восторгом смотрели на розовую девочку.

– Mesdames, какой душонок! Смотрите!

– Тсс! Не мешайте слушать!.. – послышалось шиканье старших отделений.

Наступая на ноги сидящим зрительницам и таща за руку свою крошечную спутницу, Тамара с трудом пробралась на свое место, находящееся среди выпускных.

– Тайночка! Тайночка! Милая Тайночка! – зашептали сидящие по соседству институтки – старшеклассницы и несколько рук протянулось к кудрявой головке девочки.

Та дружески кивала направо и налево, узнав своих друзей и чувствуя себя полной госпожой положения. Когда «дедушка Шарадзе» и «тетя» Валя пришли одевать Глашу в новое нарядное, подаренное ей в день рождения розовое платье, стали причесывать ее и обувать в розовую же новенькую обувь, малютка запрыгала от восторга.

– На вецел я иду, дедуска! Видись, как вазно! – хлопая в ладоши, радовалась девочка.

Это Ника Баян придумала свести на вечер всеобщую маленькую любимицу. Весь выпускной класс одобрил ее изобретательность.

Но выдать, кто она – опасно. А потому решено было говорить всем и каждому, что маленькая девочка – дальняя родственница Ники, княжна Таита Уленская, и приехала она

вместе с братьями Ники на этот вечер. Кроме выпускных, участвовала в заговоре и Зоя Львовна, поневоле сделавшаяся участницей их тайны. Лукавая улыбка не сходила с губ молодой наставницы, когда она поглядывала на курносое личико и белобрысую, тщательно завитую головку мнимой княжны.

Музыкально-вокальное отделение вечера продолжалось. На красной эстраде, среди тропических растений, появилась стройная тонкая фигурка «невесты Надсона».

Белокурая пышная головка, мечтательные глаза, весь поэтический облик молодой задумчивой девушки, как нельзя лучше гармонировали с мастерской декламацией Наташи Браун, декламацией, посвященной ее любимому поэту. Захватывающе, проникновенно звучит ее милый голос. И мелодичные, полные прелести и поэзии строки Надсона получали в ее передаче, какую-то особенную певучесть, плавность и гибкость.

Шумен праздник: не счесть приглашенных гостей.
Море звуков и море огней.
Их цветною каймой, как гирляндой обвит
Пруд, и спит, и как будто не спит...

Все дальше и дальше уводит за собой слушателей в далекий и чуждый мир средневековья бледная голубоглазая Наташа. И от низкого грудного голоса ее и от подернутых трогательной печалью глаз словно веет какой-то далекой сказкой.

И когда уносится, как на крыльях, ее красивый нежный голос в мир этой сказки и мечты, пробуждаются, встают невольно перед слушателями далекие картины и образы поэмы: Прекрасная, тихая, грустная королева... Толпа нарядных льстецов, рыцарей и придворных, окружающих ее трон... Развевающиеся перья беретов... Звонкие шпоры – А там, в нишах старого сонного сада, ждет юноша-паж, так трогательно и нежно, так преданно и верно поклоняющийся своей королеве. Но это мечта, увы!.. Одна только светлая, прозрачная мечта. Нет такого человека на свете. Никто не любит печальную королеву за ее душу, за ее сердце. Все видят в ней только могущественную властительницу, и каждый старается угодить ей лестью... И невольно тоскует и мечется бедная одинокая душа...

Сбросить прочь бы скорей этот пышный наряд,
Потушить бы огни, и одной,
Без докучливой свиты, уйти в этот сад,
Убежать в этот сумрак ночной...

Наташа едва успевает закончить чтение под бурные взрывы аплодисментов.

Не меньший успех выпадает на долю и второй декламаторши, Марии Веселовской. Несравненное тургеневское стихотворение в прозе: «Как хороши, как свежи были розы» производит огромное впечатление на слушателей. Сама чтица, со скромно причесанной гладкой головкой, увенчанной тя-

желой короной черных кос, серьезным вдумчивым лицом и большими честными, открытыми глазами привлекает к себе невольные симпатии. Ей аплодируют не меньше, нежели Наташе.

– Прекрасно! Прекрасно! С удовольствием слушаю, – говорит почетный попечитель, склоняясь в сторону кресла начальницы.

– Они очень милы, – с довольной улыбкой отвечает Марья Алексеевна, но в то же время волнуется. Сейчас по афише последуют «неспокойные» номера программы: цыганские романсы и пляска-фантазия á la знаменитая танцовщица-босоножка Айседора Дункан. Правда, сама татап тщательно выбрала репертуар песен и приказала Нике танцевать в обыкновенном платье и обуви, а не в костюме балерины, то есть коротенькой тунике и трико. Все-таки начальница и несколько смущена предстоящим исполнением.

Вот на эстраде в пестром наряде цыганки, задрапированная, как тогой, красным платком, в яркой юбке и кофте, с гитарой, перекинутой на алой ленте через плечо, появляется Шура Чернова. Ее смуглое лицо подернуто румянцем. Яркие черные глаза так и сыплют искрами из-под густо сросшихся бровей. Уверенно, без малейшего смущения, садится она на стул и берет первые аккорды.

Струны жалобно и красиво стонут под ее тонкими, но сильными пальцами, а четкий звонкий, с гортанным отзвуком, голос выводит на цыганский лад слова известной песни:

Очи черные, очи жгучие...

Гитара звенит... Струны ее то жалобно плачут, то смеются неудержимым смехом... А черные глаза Шурочки искрятся и сияют, как два черные алмаза.

– Цыганка, настоящая цыганка, – тихим шепотом проносятся по рядам гостей.

– Ей бы мальчишкой-цыганенком одеться, еще больше подошло бы, – говорит Хризантема своей подруге, Золотой рыбке, которая сидит тут рядом.

– Фи! Это было и неприлично, – поджимая губки, чуть слышно роняет соседка Сокольской с правой стороны, Лулу Савикова.

– Ну, уж ты молчи, пожалуйста, комильфощка. Тебя послушать – все неприлично выходит: и спать, и есть, и сморкаться, и причесываться, – вступается Золотая рыбка.

А на эстраде один романс сменяется другим. Шуру замучили повторениями. Публика не устает аплодировать после каждой спетой вещицы.

Счастливая и довольная, под гром аплодисментов, уходит с эстрады смугленький Алеко.

С минуту эстрада пуста... Где-то за спущенным, позади нее желтым занавесом, сшитым и разрисованным всевозможными рисунками и цветами, раздаются звуки меланхолического вальса. Это играет лучшая музыкантша Н-ского

института Декомб.

Тихо колеблется на задней стене эстрады яркий пестрый занавес с нарисованными самими институтками чудовищно огромными цветами лотосов и головами драконов, перевитыми гирляндами змей, и из приподнявшегося угла его появляется вынырнувшая фигура Ники. На ней длинное коричневое платье, вроде халатика, плотно облегающего стан, нечто похожее на скромный, почти убогий наряд героини оперы Тома – Миньоны. Веревкой, вместо пояса, опоясан ее стан.

Каштановые кудри, с червонным отливом, бегут и струятся по плечам и спине пышными мягкими волнами.

– Какая прелесть! – говорит кто-то из гостей начальнице, склоняясь к креслу генеральши.

– Душка! Ангел! Само очарование! – пробегает по рядам, где сидит младшее отделение институток оставшихся на рождественские каникулы, и в их числе Сказка, она же княжна Заря Ратмирова, мать которой не имела возможности взять девочку на Рождество.

Заря, вместе с другими институтками, впивается в лицо Ники... Многие из младших воспитанниц поклонницы Ники. Ее в институте все любят, иные обожают. Как и в старое время, процветает в институтских стенах пресловутое «обожание», хотя над ним и смеются более благоразумные воспитанницы, считая его бесспорно уродливым явлением. Выражается оно так же несложно, как и встарь. «Обожательни-

цы» бегают за своими «предметами» в перемену между двумя уроками, подносят конфеты, цветы, пишут вензель «обожаемой» всюду, где можно и где нельзя, гуляют после обеда с ней по коридору, а в большую перемену ожидают ее появления у дверей.

Никины поклонницы нередко и раньше видели Нику танцующей. Часто в институтской умывальной вечером, пока не гасилась лампа в дортуаре, сбросив неуклюжее камлотовое платье и прюнелевую обувь, хорошенькая, жизнерадостная Ника Баян носилась в ей самой придуманном танце-фантазии. Желание, а может быть, даже потребность предаться пляске рождались в ней неожиданно, внезапно. И она начала свой фантастической танец, приводя в восторг его исполнением не только поклонниц, но и прибегающих и сюда «чужестранок», то есть воспитанниц чужих отделений, которые толпились у дверей и любопытными, восторженными глазами следили за юной танцовщицей. Репутация неподражаемой плясуньи, первой по танцам, пластике и грации, прочно и непоколебимо установилась за Никой. Но ничего выученного не было в пляске Баян. Про нее можно было смело сказать, что плясала она точно так, как поют жаворонки в воздушном море, как цветут душистые полевые цветы на пестрых лугах, то есть повинувшись лишь внутренней силе и желанию пляски.

И сейчас вдохновенно и легко носилась она по эстраде под игру невидимой музыкантши, пристроившейся с ее инстру-

ментом за занавесом. В коричневой скромной одежде, с роскошными кудрями, с блестящими, как два сверкающие драгоценные камня, глазами, возбуждая всеобщий восторг, носилась она, словно быстрая птица, словно воздушная бабочка или сказочный эльф. Кто научил ее этим позам, этим движениям? Никто. Учитель танцев на все обращенные к нему вопросы по этому поводу только беспомощно разводил руками и повторял:

– Не я. Не я. Моего тут ровно ничего нет. Это врожденное. М-ше Баян одной себе обязана этой грацией, этим умением...

Теперь Ника, как вихрь, носилась по красному сукну все быстрее и быстрее. Вот она мчится на самый край эстрады, вся изогнувшись змеей, с разгоревшимся личиком, с пылающими глазами. Несется под звуки музыки, вся – воплощенное вдохновение, юность, стремительность и красота. И вдруг останавливается, как вкопанная, заломив кверху руки, поднимая к потолку восторженное лицо. Ее губы улыбаются, глаза блестят.

– Она действительно прекрасна, – замечает по-французски кто-то из почетных гостей.

Этот голос, дошедший до ушей Баян и заставивший вспыхнуть от удовольствия и радости девушку, перекрывается другим голосом.

Маленькая Глаша вскакивает со стула, на котором сидела так тихо и покорно в продолжение целого часа, и кричит на всю залу звонким детским баском:

– Бабуська Ника, сто ты все плясись? Иди луцсе к нам.
Мне скуцно без тебя...

Глава X

– Кто это? Что это? Откуда этот ребенок? – появляется фрейлейн Брунс и, вся красная от волнения, налетает на растерявшуюся, сконфуженную Шарадзе.

– Это... Это... – лепечет взволнованная армянка, не будучи в силах произнести что-нибудь.

– Отвечайте, откуда это дитя?

Сидящая рядом с Глашей Валя Балкашина с видом мученицы хватается за флакончик с нюхательными солями. Как раз вовремя подоспевает Золотая рыбка, за ней Хризантема и другие.

– Ах, фрейлейн... – звенит стеклянный голосок Лиды Тольской. – Боже мой, ведь мы же предупреждали вас, что к Нике Баян сегодня приедет из имения ее маленькая кузина – княжна... княжна... княжна...

Тут Тольская запнулась и побледнела.

– Какая княжна? – спрашивает фрейлейн Брунс.

– Княжна... княжна Тайна Ин... То есть я хотела сказать – Таита, княжна Таита Уленская, – как-то радостно прибавила она, вспомнив таинственные буквы в записке донны Севильи: Т-а и-та.

– Таита? – с удивлением переспрашивает Брунс.

– Да... У нее странное имя... И в святцах его нет... Таита.

– Но... но... Но, зачем кричит на всю залу ваша княж-

на? – сердито поблескивая глазами, не унимается фрейлейн Брунс, хотя явно заметно, что она уже несколько сдалась.

– Да – ведь она маленькая, ничего не понимает... – подоспев, горячо говорит Эля Федорова, и злым взглядом впивается в Августу Христиановну. – Все дети в ее возрасте кричат.

Кто-то фыркает. Толпа институток постепенно сгущается вокруг спорящих.

– Но, – протестует фрейлейн Брунс, – но это неприлично так кричать.

– Фрейлейн, но ведь этой девочке только пять лет, – пытается защитить Глашу Эля.

– Как вас зовут, девочка, – неожиданно обращается фрейлейн Брунс к Глаше, как бы инстинктом почуя нечто странное в появлении здесь этой подозрительной княжны.

Глаша видит перед собой чужого человека, сердитое красное лицо, недоброжелательные глаза, злую, странную улыбку и робко жметя к Тамаре.

– Меня зовут Глася, – шепчет она, глядя исподлобья на сердитое красное лицо.

– Wie? Как?

– Глася...

– Она ошиблась. Ее зовут Зизи, а не Глаша, – совершенно некстати выпаливает Тамара.

– Не Зизи, а Таита, – поправляет Тольская.

О, какой уничтожающий взгляд! Августу Христиановна

обдает им с головы до ног всю фигуру Тамары, потом переводит глаза на Глашу.

– Девочка пяти лет, не знающая своего имени!.. Это что-нибудь да не так.

– Mein Kind,²⁰ – притворно сладко и нежно обращается она снова к Глаше и даже проводит костлявыми пальцами по ее головке, – ты только сейчас приехала сюда или уже давно тут? А? Скажи, не бойся, моя крошка!

Нежный голос и улыбка Брунс подкупают Глашу.

– Не, я не плиехала. Я от дедуськи плисла... Бауську Нику смотлела... Голазд холосо плясет бауська Ника... – болтает она непринужденно.

– Что-о?

Глаза Августы Христиановны выкатываются от неожиданности. Княжна, говорящая совершенно по-деревенски... «Горазд»... «Не»... О, ужас какой! Смутная догадка появляется в голове немки. Подавив в себе все возрастающее волнение, она обращается опять к ребенку:

– Деточка, пойдем в сторонку. Я тебе конфетку дам... Здесь тебе неудобно, жарко...

– Ладно... – слышится довольный голосок.

О, это «ладно»!.. Оно погубило все дело. Маленькая аристократка – и «ладно»! Так княжны не говорят! Это не может быть княжна. Да и лицо у этой девочки простое. В нем нет ни капли аристократичности.

²⁰ Мое дитя.

Лицо Августы Христиановны багровеет. Торжествующим взором обводит она сузившийся вокруг них кружок выпускных.

Еще минута, и она готова кинуться к начальнице, к инспектрисе. Зачем? Почему? – она и сама не отдает себе отчета. Знает и чувствует только одно: эта маленькая смешная девочка в розовом платье не княжна вовсе, не то, за кого ее выдают. Здесь кроется какая-то тайна, какой-то заговор, какие-то новые глупые проказы, которые необходимо разоблачить. Недаром же у воспитанниц такие растерянные, испуганные лица. О, это надо вывести на чистую воду, надо во что бы то ни стало. И чем скорее, лучше, да...

Августа Христиановна смотрит мгновение на белобрысую, завитую барашком головку. Смотрит в упор на курносое бойкое личико и черные, смело поднятые на нее глазенки и спрашивает, кладя одну руку на плечо Глаши, а другой глядя ее светлые льняные кудерьки.

– Откуда же ты, девочка? Где твоя мама?

Глаша оглядывается с ей одной свойственной живостью и, заметя в толпе выпускных бледное спокойное личико Мари Веселовской, бросается к ней, хватая ее за руку и тащит пред лицо классной дамы.

– Вот моя мама! Вот! – лепечет она с довольным радостным видом и тянется к смущенной Земфире за поцелуем.

Эффект получается чрезвычайный. Мгновенно наступает мертвая тишина. Все еще багрово-красная фрейлейн Брунс

теперь бросается к Мари.

– Почему она вас так называет, почему? Скажите! – и, сама того не замечая, вцепляется в полную руку девушки костлявыми пальцами.

– Ха, ха, ха! – неожиданно раздаётся смех, заразительный и веселый, сразу возвращающий всем хорошее, светлое настроение. – Фрейлейн Брунс, успокойтесь... – говорит Алеко, неожиданно появляясь, звеня металлическими запястьями и ожерельями – принадлежностью костюма цыганки, – маленькая княжна Таита воспитывалась в деревне, играла с деревенскими детьми и неудивительно, что ее манеры и говор немножечко того... Хромают... Ее даже Глашей прозвали, вполне по-деревенски, за эти манеры, в шутку в родной семье. И решили ее перевоспитать. С этой целью она приходит к Нике Баян каждое воскресенье, во время приемов, и многие из нас сидят с ней и учат ее манерам. Каждая из нас притом взяла на себя роль ее воспитательницы. Мари Веселовская – ее мама (такую игру придумали мы все сообща), я – папа, Тамара Тер-Дуярова – дедушка, Баян – бабушка...

– Совершенно верно, я бабушка! – кричит подоспевшая Ника и смеется всеми ямочками своего очаровательного подвижного лица.

– Бабуська Ника! Бабуська, – радостно смеется и бросается к ней на грудь Глаша.

– И притом самая очаровательная бабушка, какую кто-либо встречал в мире! – слышится позади нее приятный муж-

ской баритон.

Все оборачиваются и расступаются перед красивой молодой молодой парой. Это Зоя Львовна Калинина под руку с братом-доктором вступает в круг воспитанниц.

Словно нечто свыше осеняет в этот момент голову Ники. Она бросается к молодой наставнице заранее предупрежденной ею о посещении Тайной институтского вечера и, побеждая охватившее ее волнение, весело говорит:

– Зоя Львовна, дорогая, дуся наша, заступитесь хоть вы за нас. Фрейлейн Брунс почему-то нам не доверяет. Находит положение княжны нелегальным в этой зале. Скажите же Августе Христиановне, что вы тоже знаете эту ни в чем неповинную крошку, и защитите ее.

– А кто же может в этом сомневаться? Знаю ее и очень люблю. Пойди сюда, маленькая.

И Зоя Львовна берет на руки и прижимает к груди доверчиво отдавшуюся ее ласке Глашу.

Теперь очередь смущаться за Августой Христиановной. Раз сама Зоя Львовна знает эту маленькую девочку, подошедшую к ней, как к старой знакомой – ей нечего волноваться. Все законно, все правильно, все, как надо. Ничто не идет в разрез с раз и навсегда установленными правилами института. Все еще смущенная, обводит она глазами толпившихся вокруг нее воспитанниц, лепечет какой-то комплимент Зое Львовне и скрывается в толпе.

– Слава Богу, спасены! – вырывается одним общим вздо-

ХОМ.

– Надолго ли?

– Пойдем-ка лучше от греха подальше, Тайночка, Дам я тебе конфет и фруктов, да отведу к Ефиму. – Шарадзе, подхватив на руки заупрямившуюся было Глашу, исчезает вместе с ней из зала.

А в дальнем углу маленький тапер ударяет руками по клавишам рояля, и мотив модного вальса уже звучит под сводами огромной комнаты.

– Mademoiselle Баян, разрешите вас просить на тур.

Темная энергичная голова Дмитрия Львовича Калинина низко склоняется перед Никой. Девушка непринужденно кладет ему на плечо свою маленькую руку, и они несутся по зале.

Звуки вальса смеются и поют, радостно волнуя молодые души. Быстро кружатся, открывая первой парой вечер, Ника и Дмитрий Львович. Все невольно любят ими, и тапан, и почетные опекуны, и учителя. О, как весело так кружиться, чувствуя на себе любующиеся взгляды! Ника не тщеславна, нет, но сейчас, когда все глаза устремлены на нее, ее самолюбие приятно затронуто всеобщим вниманием.

– Ах, – неожиданно вспоминает она, – я и забыла поблагодарить вас как следует за спасение нашей Таиточки, за ее лечение. Зоя Львовна передала вам наше письмо. Теперь я еще раз благодарю вас за Таиточку, доктор.

– За кого? – удивленно, не переставая кружиться, спра-

шивает молодой врач.

– За Таиточку, Глашу... Вы ее спасли тогда. Мы послали вам ваше коллективное благодарственное письмо, теперь я благодарю вас от всей души уже лично... – говорит она серьезным, прочувствованным голосом.

Ника благодарила молодого доктора за спасение девочки, а он говорил улыбаясь:

– Я тут не при чем. Здоровая натура, здоровый желудок сделали тут много больше, чем я. Да и потом вы лично меня тоже уже поблагодарили.

– Когда?

Глаза Ники раскрываются широко удивленным взглядом.

– Ну да, поблагодарили, – повторил он, – еще сегодня, когда танцевали ваш танец в этой коричневой хламиде. О, это была целая поэма! Огромное наслаждение доставили вы мне вашим танцем. И не только мне, но и всем присутствующим в этой зале. Мы квиты таким образом, m-lle Ника. Вы разрешите мне назвать вас так?

Как хорошо, как тепло звучит его голос! Как ласково смотрят на нее его большие, добрые, серые глаза. И Нике кажется, что это не вальс звучит под искусными руками тапера, а песня эльфов в тихую лунную ночь... И душа ее поет ответной песню, так радостно и легко у нее на сердце сейчас.

– Благодарю вас, – слышит она, словно издалека тот же бархатный голос, и сказка обрывается на полуслове.

Она сидит в уголке на стуле в своем коричневом платье

Миньоны, с распущенными по плечам кудрями, а ее балльный кавалер уже далеко. Вот он подходит к своей сестре Зое Львовне и что-то оживленно говорит ей. И оба, обернувшись в сторону Ники, смотрят на нее издали через всю залу.

– Хороша, нечего сказать, сама танцует, а о нас и забыла, – слышит вдруг, словно во сне, Ника сердитые голоса и точно просыпается сразу.

Вокруг нее теснятся Наташа Браун, Хризантема, Золотая рыбка, «Дорогая моя», Маша Лихачева и вернувшаяся из сторожки Шарадзе.

– Ты танцуешь, а о других и думать совсем забыла!

– Да что такое? В чем моя вина?

– А в том, – сердито звенит своим стеклянным голоском Золотая рыбка, – что ты эгоистка, вот и все. У тебя доктор и два брата, и не думаешь их нам представлять.

– Ага, так вот что! – приходит в себя сразу Ника и, быстро вскочив со своего места, несется через залу в тот угол, где темнеют мундиры военных и учащейся молодежи.

– Вовка, – ловит она за рукав по пути маленького толстенького румяного кадета. – Вовка, иди с моими одноклассницами танцевать. Я тебя представлю.

– Ника! Ника! – говорит мальчик, восторженно глядя на сестру, – как здорово ты плясала нынче. И кто тебя этому научил?

– Никто не научил. Это случайно, Вовка. А что, хорошо разве?

– Помилуй Бог, хорошо. Здорово хорошо, Никушка! Это знаешь, по-нашему, по-суворовски, по-солдатски выходит.

– То есть, как же это? По-солдатски? Значит без малейшей грации? – смеется девушка.

– Ну, вот и врешь!

Вовка Баян, пятнадцатилетний упитанный мальчуган-кадетик, начинает раздражаться.

– Уж эти девчонки! Никогда не могут понять самую соль дела...

Сам Вова, по натуре, настоящий солдат, и все солдатское ему по душе, по сердцу. И если он хочет одобрить, похвалить что-нибудь, то лучшей похвалы, как сравнить угодившего ему чем-либо человека с солдатом, Вова не может находить. Идеал этого румяного, всем и всеми всегда довольного жизнерадостного кадетика – Суворов. Великий русский полководец всегда был чем-то высшим; неземным и прекрасным в мечтах Вовы. Гений Суворова более всех других героев отечественной истории увлекал мальчика. И Вова старался во всем подражать своему идеалу. И употреблял суворовские словечки и выражения, ел грубую пищу, не выносил зеркал, на каждой фразе прибавлял, кстати и некстати, знаменитое суворовское «Помилуй Бог» – и мечтал о будущей славе, если не о такой яркой и гениальной, какую стяжал себе великий русский полководец, то хотя бы о маленькой и ничтожной славе, которую он надеялся себе снискать на войне.

– Послушай, Никушка, ты меня не веди к старшим воспи-

танницам – они важничают, помилуй Бог, небось, а я ведь солдат, ем щи да кашу и режу правду-матку, как Александр Васильевич, – шепотом робко говорил Вова, нехотя проходя с сестрой в противоположный угол залы где поджидала его уже группа выпускных институток. – Я лучше к маленьким пойду. Я боюсь, помилуй Бог... – совсем уже струсил кадетик по мере приближения к ним.

– Боюсь?! А еще солдат! Стыдись! – хохотала Ника.

– Ты поменьше ростом хоть выбери. Я сам невелик, – хватался за последнюю соломинку, как утопающий, Вова.

– Молчи уж, хорошо? Вон Золотая рыбка, к ней и поведу... Лидочка, представляю тебе сего мужественного воина, Это мой брат – Суворов номер два. Заранее извиняюсь, если он с грацией гиппопотама будет наступать тебе на пальцы во время вальса, – заразительно смеясь, говорит Ника Лиде Тольской, слегка подталкивая к ней вспыхнувшего до ушей Вову.

Тот неуклюже поклонился и обхватил талию девушки.

– Вы какой вальс танцуете? – мрачно обратился маленький Суворов к своей даме.

– Только Венский, конечно.

– Как же быть-то? А я только в три па, помилуй Бог.

– Ну, давайте, помилуй Бог, в три па... – засмеялась Тольская.

– А вы славная. Сразу с вами легко. Не кисейная барышня, несколько. Ну, помилуй Бог, валяйте.

– Что? Ха-ха-ха!

И они весело, бешеным темпом закружились под музыку. Сделав несколько туров, Вова окончательно расхрабрился.

– Помилуй Бог, здорово хорошо!.. Теперь другим подругам представьте. Не страшно. Ника права: солдат должен быть храбр, – доставляя на место Золотую рыбку, – произнес он, отдуваясь.

– Вот, Капочка Малиновская свободна. Я вас представлю ей.

И Лида Тольская, не дожидаясь ответа, повела Вову к сумрачно уютившейся в углу Камилавке.

– Позвольте просить, – расшаркался перед ней Вова.

– Да что вы? За кого вы меня считаете? Что, я беса тешить стану, грех и ересь разводить? Танцуйте с другими. Меня в покое оставьте, – со злыми глазами, накинувшись на него Малиновская.

Вова смутился. Золотая рыбка сконфузилась.

– Что это она? Разве я провинился, помилуй Бог, перед ней... – смущенно пробормотал мальчик. – Зачем она сердится? – зашептал он Лиде, отступая уже совсем не по-суворовски от Малиновской.

– Нет, нет, успокойтесь, Капочка всегда такая. Простить себе не могу, что забыла ее «принципы» и подвела вас к ней... – лепетала сконфуженная не менее «второго Суворова» Золотая рыбка. – Оставьте ее и протанцуем еще тур со мной.

– Вот это я понимаю. Это по-нашему, по-суворовски.

И Вова закружился снова по зале со своей прежней дамой. Теперь они болтали без умолку, и мальчик узнал через две минуты, что у его юной дамы есть аквариум в дортуаре, где живут два живые тритона и три золотые рыбки. Узнал тоже, что институтская «тапан» – прелесть и само «очарование», а Ханжа порядочное «ничтожество» и что далеко не все синявки – «фурии и палачихи». Вот Зоя Львовна, например: ангел и сама доброта. «Четырехместная карета» – ничего себе, и многие другие...

Вова, в свою очередь, в долгу не остался и рассказал все корпусные новости, поверил кое-какие мечты о будущем, больше о войне и походах, и в заключение отвесил такой комплимент Золотой рыбке, от которого девушка расхохоталась от души.

– А вы, помилуй Бог, совсем свой брат солдат, и с вами мы точно пять лет знакомы.

В это время Ника стояла подле своего старшего брата Сергея.

– Пожалуйста, Сережа, протанцуй с «невестой Надсона», – просила она самым убедительным образом молодого студента.

– С кем, Никушка, с кем? – засмеялся тот.

– С Наташей Браун. Она поклонница Надсона, и мы ее все так называем.

– Но, голубушка моя, не та ли это мечтательная девица,

которая читала с эстрады?.. Она так тонка и эфирна, так поэтична и легка, что я боюсь, увлечет меня, того и гляди, на самое небо. А оттуда, Никушка, сама знаешь, нет возврата, – смеясь, отговаривался Сергей.

– Ну, тогда с Машей Лихачевой.

– Ой, уволь, родная. Твоя Маша так всегда «шипром» продушена, что у меня при встрече с ней долго потом голова болит, – смеялся, зная все слабости и грешки институток, Сережа Баян.

– Ну, с Капой...

– Это с «грехом»-то и «ересью»? Спаси меня Господь!

– Ну, так с кем хочешь, Сережа, только с нашими танцуй.

Не смей приглашать чужестранок вторых и третьих, и с пепиньерками тоже не надо танцевать, – уже волнуясь, говорила Ника.

– Но почему, смею спросить?

– Это будет изменой моему классу, понимаешь? Ты – мой брат и должен соблюдать наши интересы Я сама смеюсь над этим, но что делать: с волками жить – по-волчьи выть.

– Ага, понимаю, – совсем уже расхохотался Сергей.

– У тех есть свои собственные кавалеры, – dokonчила Ника.

– Несчастные... И на них установлена «монополия». Послушай, а m-lle Чернова и Веселовская здесь?

– Они уже танцуют. Пригласи других.

– Жаль. Мне они нравятся больше других. Алеко и Зем-

фира, так кажется?

– Какая у тебя память! Ты помнишь прозвища всех наших!

– А кто это? Какая хорошенькая. Что это она, кажется спит? – и глаза Сергея Баян, обегавшие рассеянно залу, вдруг останавливаются с насмешливым любопытством на сидящей позади них в уголке скамьи девичьей фигуре. Ему сразу бросается в глаза точеное, с правильными чертами личико, сомкнутые веки, длинные ресницы.

– Ха-ха-ха! – смеется Ника. – Да это Спящая красавица. Разве ты не помнишь? Та самая, которая уснула раз на приеме. Все смеялись тогда... А раз она на французском уроке захрапела. Наш француз испугался, думал с ней обморок. Потащили Неточку в лазарет, а она проснулась и ничуть не сконфузилась, представь, ничуть. Такая апатичная, спокойная и сонная, совсем спящая царевна.

– Ну постараемся разбудить вашу спящую царевну. Авось, удастся, – произнес с улыбкой Сергей и направился решительными шагами к задремавшей Неточке.

– М-ше, позвольте вас просить на тур вальса?

Серые глаза Неты раскрылись широко и с изумлением остановили свой взгляд на лице молодого студента.

– Я, кажется, уснула. Вечер еще не кончился, – апатично и сонно протянула Нета.

– Боже мой, да ведь это вы, кажется, исполняли арию Татьяны сегодня и вы же продавали билеты на концерт? – в

свою очередь изумленно произнес Сергей.

– Я. Ну, так что же?

– Ну, как же вы можете спать? После такого прекрасного безукоризненного исполнения?

– А разве оно было прекрасным? – не то с удивлением, не то с недоверием произнесла Козельская.

– Нет Неточка, ты прелесть что такое! Такая непосредственность в наш век! – и Ника Баян чмокнула налету подругу. – Сергей, займи ее хорошенько. Кстати, пригласи на контрданс! – крикнула она брату, исчезая с быстротой мотылька в толпе приглашенных.

– А мне разрешите протанцевать с вами? – услышала в тот же миг молодая девушка уже знакомый ей голос за спиной.

– Ах, это вы, доктор! А я было потеряла вас из виду, – обрадовалась Ника, увидя перед собой красивое, веселое лицо Дмитрия Львовича.

– Увы! Это удел всех нас простых смертных! – с деланным пафосом шутливо воскликнул тот. – Что же касается меня, то я не упустил вас из виду ни на одну минуту. Я видел, как вам рсточало похвалы начальство, слышал как отзывались о вас опекуны, учителя и порадовался заодно с вами.

– Правда? Какой вы добрый и милый – искренно сорвалось с губок Ники.

«Если я добрый и милый, то вы – сама прелесть, – хотелось сказать молодому врачу, – и я никогда в жизни не встречал еще такой милой, славной, непосредственной девушки».

Но такая фраза могла бы оказаться некорректной и противной правилам благовоспитанности, и потому Дмитрий Львович удовольствовался вопросом, обращенным к своей юной даме:

– Вам весело сегодня, не правда ли?

– Ужасно весело! Как никогда!

Нике, действительно, было весело сегодня. Беззаботная радость наполняла все ее существо. Звуки кадрили, вылетающие из-под привычных быстрых пальцев тапера, поднимали настроение. Доктор был таким разговорчивым и остроумным. А только что расточаемые перед ней похвалы учителей и начальства ее искусству совсем вскружили ее каштановую головку.

– Смотрите, смотрите, что сей сон означает? – провожая ее на место после первой фигуры, удивленно глядя куда-то вбок, обратился к Нике Дмитрий Львович.

Девушка взглянула по тому же направлению и вспыхнула, как говорится, до корней волос.

– Что такое? Чем она вас смутила?

Но Ника не отвечала. Ее глаза приковались к одной точке. Лицо потеряло сразу веселое, беззаботное выражение.

Два сине-серых глаза смотрели на нее в упор, злым взглядом, не мигая, явно негодуя и чем-то угрожая. Тонкие губы кривились в презрительную усмешку.

– Это еще что за статуя молчания? – недоумевал Калинин.

– Это Сказка.

– Что-о-о-о?.. – вырвалось у него комическим басом.

– Сказка. Ее так прозвали. Настоящее ее имя княжна Заря Ратмирова.

– Турчанка?

– Нет, русская...

– Но Заря... Заря... Это пахнет Магометом.

– Ха-ха-ха! Пахнет!

– Ну, вот вы и рассмеялись. А я уже думал, что это «мрачная повесть»...

– Сказка! Сказка! – хохотала уже Ника, снова приобретая свое прежнее веселое настроение.

– Но почему она Сказка, а не новелла, не стихотворение в прозе, например? – допытывался доктор.

– А разве вы сами не находите в ее внешности какого-то своеобразного таинственного оттенка, чего-то не от мира сего, особенного, исключительного и красивого, как сказка?

– Воля ваша, не вижу, не вижу ничего. В вас самой, если уже на то пошло, гораздо больше сказочности, нежели в ней.

Ника покраснела. В это время позади нее послышался явственный шепот:

– Баян... Ника... Когда кончится кадрили, придите ко мне.

– Хорошо, Заря.

– Что сообщила вам ваша «пьеса»? – поинтересовался доктор Калинин.

– Сказка же, а не пьеса, говорят вам. Она зовет меня к

себе после кадрили.

– Она вашего класса, эта беллетристика со злыми глазами?

– Нет... ха-ха-ха... Второго.

– Но вы дружны с ней? Подруги?

– О, нет. Мы просто обожаем друг друга.

– Что это значит?

– А, вы не знаете? Я вам сейчас объясню. – И, проделав положенное второй фигурой па, Ника самым серьезным образом стала пояснять Дмитрию Львовичу, что значит на институтском языке «обожать» – подносить цветы и конфеты своему «предмету», гулять с ним парой в рекреации, писать письма на раздушенных бумажках, выписывать или выцарапывать в честь нее вензель на руке...

– Боже, как трогательно! – вскричал патетически доктор. – Неужели же и вы, такая умница, вот с этими чудесными глазками, с этой логичной головкой также выцарапываете вензеля и подносите цветы вашей «пассии»? – смеясь, попытывался он у девушки.

– Ну, положим, вензеля я не выцарапывала, а розы подношу... иногда, – краснея говорила Ника.

Он не успел возразить ей, потому что музыка заиграла в эту минуту снова, и они поднялись с места для новой фигуры кадрили.

– Вижу, Ника, что вы совсем позабыли меня. Я не спускала глаз с вашего лица, пока вы танцевали на эстраде. Я любовалась вами все время. А вы ни одного раза даже не взглянули на меня. Потом я послала Мару за вами, а вы не пришли. Еще бы, такой талант! Такая знаменитость! До вас рукой теперь не достать. Вы всех очаровали вашими танцами.

Голос княжны Зари Ратмировой дрожит и обрывается от волнения каждую минуту. А лицо ее, всегда таинственное, теперь словно сбросило с себя маску. Она сердится. Глаза ее, так пленявшие еще недавно своей загадочностью Нику, сейчас странно округлились от гнева и стали как у птицы и губы у нее дрожат.

Ника смотрит в это лицо, еще недавно такое обаятельное в своем спокойном молчании, а теперь потерявшее вдруг всю прелесть.

«Совсем другая Заря... Завистливая, обыкновенная, как все... – мелькает в головке Баян. – И что я находила в ней раньше особенного?... И эти круглые злые глаза... Да она похожа сейчас на сову... Сова, точно сова...»

Уже давно затихла музыка. Разъехались гости. Вечер-концерт закончился. Институтки разошлись своим спальням. Все спят. Только Ника и Ратмирова притаились у коридорного окна и шепотом ведут беседу.

– Нехорошо, Ника, нехорошо, – снова подхватывает Заря, – забыли вы меня совсем. То тайны у нас какие-то выискались, целыми днями шепчетесь со своими одноклассницами, о чем-то хлопчете, куда-то носитесь; то теперь любезничаете с этим доктором, то возитесь с какой-то невозможной девчонкой. А для меня у вас не находится ни одной свободной минуты. А я вас так люблю...

Ника смотрит большими глазами на Ратмирову и только сейчас замечает всю деланность ее тона, всю рассчитанность и размеренность жестов и эти глаза, так нравившиеся ей раньше, а теперь горящие злым огоньком, глаза совы. Где же Сказка? Где таинственная прелесть этой самой Зари? Куда она скрылась сейчас? И как с ней скучно в сущности... Не о чем говорить. Или она молчит, или говорит о пустяках, упрекает ее, Нику.

И непосредственная, как всегда и всюду со всеми, Ника говорит, режет правду-матку, как сказал бы про нее ее брат Вова:

– Знаете что, Заря: не находите ли вы, что все это пресло-

вудое обожание – один смех и пустота. Вся эта беготня друг за другом, свидания на лестницах, это – чушь и ерунда. Вот недавно вы, например, выцарапали мое имя у себя на руке. Но ведь это же смешно и ненормально. Можно любить друг друга, но зачем причинять себе боль. Зоя Львовна смеялась как-то над этими вензелями...

– Ну, она над всеми смеется.

– Неправда, Заря. Она – само великодушие и честность, ваша Калинина. И такая на редкость здоровая натура! Нельзя не ценить ее.

– Ну и обожайте ее, если она вам нравится, – сердито и дерзко срывается у княжны.

– Я никого не буду обожать, Заря. Я нахожу, что это дико и смешно. Я очень дорожу вами, но прежние отношения наше друг к другу должно прекратиться. Это такая глупость, повторяю – вся наша беготня младших за старшими.

– Но вы этого не находили раньше – иронизирует княжна.

– Потому что я раньше была иная. А сегодня точно прозрела.

– Неправда! – кричит Ратмирова и топает ногой. – Вы просто заважничали – весь институт носится с вами... До нас ли вам теперь?

И, говоря это, она презрительно кривит губы и вскидывает на Нику злые глаза и кричит ей в упор, заметно бледнея всем своим изменившимся от гнева лицом:

– И потом, ваша противная Тайна, как вы ее там называ-

ете, Таита, что ли отняла вас от меня совсем?

– Что? Откуда вы знаете? Заря! Заря!

Ноги Ники подкашиваются, и она, помимо собственной воли, опускается на подоконник.

«Как? Их Тайна перестала быть тайной?.. Заря узнала о ней все, а заодно с ней, может быть, и весь ее класс.»

– Откуда? Каким образом вы узнали? – срывается у Ники Баян безнадежным, полным отчаяния, звуком.

Княжна Ратмирова смотрит теперь насмешливо на свою собеседницу, точно забавляясь ее смущением. Потом она скрещивает руки на груди и злорадно говорит:

– Да, я знаю все. Знаю, что вы, первые, прячете какую-то девочку в сторожке Ефима. Знаю, что каждую свободную минуту бегаєте ее навещать. Знаю, наконец, что носят ей обеды ежедневно. И еще больше того знаю: сегодняшней вечер ваш был устроен в ее пользу, и она сама на нем присутствовала под видом вашей маленькой родственницы, и вы все старались называть ее загадочным именем «Т-а и-та», что означает «Тайна института».

– Боже мой, откуда вы, Заря, это знаете? Откуда? – отчаянии лепечет Ника. – Ведь никто вам этого не говорил.

– Конечно, но вы забываете, что я очень люблю вас Ника, что я очень привязалась к вам и, увидев, что вы всячески стали избегать моей дружбы, я стала следить за вами, выследила и узнала все.

– Какая низость!.. И это сделали вы, которую я так уважа-

ла и ценила всегда!

– И которую вы променяли на эту глупую белобрысую девчонку... О, Ника, я ненавижу ее всей душой за то, что она так бессовестно отняла вас у меня.

Тут Заря не выдерживает и рыдает неудержимо.

Нике Баян немного жаль сейчас эту девушку, всегда такую сдержанную и молчаливую до сих пор. Но ей еще страшнее за участь Тайны, Ефима, Стеши. Что, если княжна Заря, рассерженная на нее, Нику, кому-нибудь расскажет о существовании Глаши? Ведь тогда все они пропали, пропали совсем...

– Заря... Послушайте... Да не плачьте же, не плачьте, ради Бога... Вы будете молчать? Не правда ли. Никто не узнает от вас об этой маленькой девочке? Ведь не узнают, Заря?

– За кого... вы меня... принимаете... В роду Ратмировых не было никогда предателей, – нашла в себе силы вымолвить сквозь слезы княжна. – Но вы, ведь, не лишите меня вашего общества Ника, – добавляет она робко чрез минуту.

– Ах, Заря, только не на прежних условиях! – срывается непосредственно у Ники.

– Нет, именно на прежних! Непременно прежних! Я хочу, чтобы все институтки знали, что красавица, умница и талант Ника Баян отвечает мне на мое обожание.

– Нет, этого не будет... Я же говорю вам, что все это дико и глупо, Заря, – бросает Ника, возмущенная упрямством княжны.

– Так!.. Ну, тогда не пеняйте на меня. Я ни за что не ругаюсь, если меня разозлят окончательно.

– Какая гнусность!.. – вырывается у Ники, и с жестом негодования она отходит от княжны.

– Никочка! Никочка! Я пошутила. Погодите. Пойдите, Никочка... – слышится ей отчаянный шепот Ратмировой.

Но Ника молчит и быстрыми шагами уходит в даль коридора. Ей не о чем больше говорить с княжной. Вся душа ее протестует и дрожит негодованием от ее угрозы. И образ молчаливой, красивой и таинственной Сказки сменяется новым, злым и так недостойно угрожавшим ей только что новым образом.

«Нет, никогда уже после таких слов не вернусь я к тебе, Заря, – мысленно проносится в голове Ники. – Кончена дружба наша, и моя прекрасная таинственная Сказка раз и навсегда исчезла для меня».

Глава XI

Как вихрь промчались рождественские каникулы в институте. Одним сплошным праздником оказались они для выпускных. Целую вереницу самых разнородных впечатлений пережили за время их институтки. Ездили в театр, костюмировались под Новый Год, устраивали елку, гадали и снова ездили всем классом в цирк. К счастью, Августа Христиановна Брунс временно, до десятого января, сдала дежурство м-лле Оль, и лишенные, таким образом, чрезмерно бдительного надзора, воспитанницы могли вздохнуть свободнее. Впрочем, до начала занятий времени оставалось уже немного; восьмого должны были съехаться институтки, проводившие рождественские каникулы дома. А теперь уже незаметно подкралось четвертое января – канун крещенского сочельника.

– Mesdames, знаете какой сегодня день? – едва успев открыть глаза, крикнула на весь дортуар Шарадзе четвертого утром.

– Тише, дай спать, Тамара! Что за безобразие будить народ до петухов! – послышался недовольный голос Козельской.

– Ну, милочка, для тебя особенные петухи должны петь – послеобеденные. Ты никогда не выспишься... – засмеялся кто-то.

– А день-то сегодня все-таки особенный, mesdam'очки. Придет нынче наша донна Севилья и принесет все, что нужно для нашей Тайночки: и белье, и шубку, и сапожки.

– И книжку сберегательной кассы принесет, на которую мы положили вырученные от концерта деньги для нашей общей дочки, для дорогой Таиточки.

С тех пор, как «донна Севилья» в своей записке о болезни Глаши применила таинственные буквы «Т-а и-та», за ней и все в своих записках, следуя ее примеру, вместо «Глаша» или «Тайна» стали писать «Т-а и-та», а в разговоре между собой называли Таитой же и Глашу, что должно было означать Тайна института. Особенно нравилось это имя донне Севилье.

– В нем есть что-то испанское, – часто повторяла она.

– Алеко, только ты не потеряй книжку. Береги, как зеницу ока. Не даром же мы тебя выбрали в казначеи, – слышался чей-то звонкий молодой голос.

– Что такое? Кто мое имя произносит все!

И всклокоченная кудрявая голова черненького Алеко с сожалением отрывается от подушки.

– Mesdames, смотрите, солнышко! – произносит Наташа Браун и, откинув тяжелую штору, с восторгом смотрит на бледное северное январское солнце, робко заглядывающее в окно, и декламирует звонким голосом:

По лазури неба тучки золотые

На заре держали к морю дальний путь,
Плыли, зацепили за хребты седые...

– Довольно, Наташа, довольно. Лучше будем думать, как бы вечер провести поинтереснее, – остановила девушку Золотая рыбка.

– Давайте вызывать духов, – неуверенно прозвучал голос Браун.

– Ну, конечно, ты Надсона вызывать будешь, – засмеялась Веселовская.

– Mesdames, увольте, – вступилась в разговор Ника, – не верю я что-то в эти общения с духами.

– Как не веришь? Ведь об этом целые тома написаны! – возмутилась бледненькая «Невеста».

– Ну, как хотите, а я все-таки не верю.

– Деревня-матушка!

– Не деревня, а Манчжурия дикая. Вот что!

– Ха-ха-ха!

– Оккультизм, вызывание духов – грех и ересь, – твердо решает Капочка.

– Молчи уж ты, святоша.

– Милая моя Камилавочка, – насмешливо-ласково говорит «Золотая рыбка», обнимая растрепанную голову Малиновской, – и нужно же было госпоже Судьбе подшутить над тобой злую шутку. Тебе следовало бы родиться мальчиком, чтобы потом сделаться священником...

– И мы бы ходили к тебе на исповедь... А ты бы варварски терзала нас за ересь и грехи... – подхватив, продолжала под общий смех Алеко.

– Не смейтесь, mesdames, не надо. Это так прекрасно молиться заодно со всеми верующими, иметь возможность утешать их, спасать их души. О, как это хорошо!

Капочка оживленными глазами обвела лица всех окружающих ее девушек. И спустя минуту она с внезапным воодушевлением подхватила снова:

– Ведь есть же женщины-адвокаты, женщины профессора, врачи... Почему бы и не быть женщинам-священникам?

– Mesdames, вставайте скорее: Ханжа на горизонте! – пулей влетая в дортуар, крикнула Зина Алферова.

– Господи, от Скифки избавились на недельку, так Ханжа таскается по пятам за нами! – вздыхает Шарадзе.

– Fi donc!²¹ Какое выражение! – пожимает плечами Лулу Савикова.

– Уж молчи, пожалуйста. До выражений ли тут! – огрызается Тамара.

– Итак, вечером в клубе, когда все утихнет. Да? Согласны?

– Согласны. Конечно, согласны...

– Mesdam'очки, а кто из нас понесет Таиточке приданое?

– Я!

– Я!

– И я!

²¹ Фу!

– Всем нельзя. Пусть самые близкие родственники идут, – командует Ника, – мать, отец, дедушка и бабушка...

– Дорогая моя, а можно и мне, как одной из теток? – робко осведомляется Зина Алферова.

– Тогда и все тетки, если одна, – заявляют остальные.

– Тише, mesdames, тише. «Она» уже здесь.

Тихо и неслышно, как-то бочком, вползает в дортуар инспектриса.

– Опять шум, опять крики! Недурное время провождение для благовоспитанных барышень.

– Но ведь нынче еще рождественские праздники! – поднимается чей-то протестующий голос.

– Так, по-вашему, надо на праздниках шуметь! Ведь это только у... у... нетрезвых крестьян принято... – кривит губы Юлия Павловна.

Где-то сдержанно фыркают.

– У «нетрезвых крестьян». Ха-ха-ха. Она, конечно, хотела сказать – у пьяных мужиков... Лулушка, слышишь, Ханжа заразилась твоей комильфошностью, – шепчет Маша Лихачева по адресу корректной Савиковой.

– Оставьте меня ради Бога в покое, – шепотом же злится Лулу.

Все наскоро одеваются и под конвоем инспектрисы, вместо отсутствующей Брунс, идут на молитву.

Снова вечер. Давно потушен свет в дортуаре. Отдежуририв чужое дежурство, совсем разбитая, инспектриса идет к себе. С подобострастной улыбкой встречает ее седовласая Капитоша:

– Слава Богу, угомонились ваши «сорванцы», барышня. Уж и денек ныне выпал!.. – говорит она, расшнуровывая ботинки своей совсем размякшей от усталости шестидесятилетней барышне.

– Ах, Капитоша, дня не дождусь, когда вернется Фрейлейн Брунс.

Капитоша с участием смотрит в пожелтевшее морщинистое лицо госпожи Гандуровой.

– А знаете ли, барышня, я должна вам кое-что сообщить.

– Что такое? – сразу подтянулась инспектриса. Да вы не волнуйтесь, ради Господа Бога, барышня, да только заметила я кое-что.

– Что заметили? Говорите скорее, Капитоша.

– Да не ладное у нас творится что-то.

– Ну?

– Приметила я, что кажинный вечер барышни выпускные по очереди в сторожку наведываются.

– Вот-вот... И я сама раз это заметила... До утреннего звонка еще ходили. Ну, я узнала причину. Они обещали, что

это не повторится больше. Неужели опять? – тоскливо слышится с поблекших уст Юлии Павловны.

– Вчера и третьего дня своими глазами видала, барышня. Вошли туда, пробыли минут десять и бегом обратно.

– А кто? Кто? Вы не заметили, нет? Наверное, Баян.

– И барышня Баян, и барышня Тольская, и Лихачева, и Тер-Дуярова, и Сокольская, и все.

– Ага, отлично...

Полон значения звучит этот возглас в уютной спальне инспектрисы. Затем она снимает при помощи Капитоши свое форменное «мундирное» платье и облачается в пестрый турецкий капот и медленно, крадучись, выходит из комнаты.

В «клубе» нынче, в этот поздний январский вечер, происходит нечто совсем из ряда вон выходящее. На середину комнаты выдвинут небольшой столик, находящийся обыкновенно под одним из окон. Вокруг столика стоят принесенные из дортуара и умывальной комнаты табуреты. На них сидят Ника Баян, Тер-Дуярова, Тольская, Сокольская, Чернова, Веселовская, Алферова, Лихачева и Наташа Браун. Все лица внимательны и сосредоточены. Только Ника и смугленький Алеко не могут постичь всего значения торжественной минуты. Они то и дело хихикают, пересмеиваются, делают свои замечания Мари Веселовской. Наташа Браун пресерьезно уверила эту спокойную уравновешенную девушку, что в глазах у Марии есть какая-то сила, что-то такое, чего не объяснишь словами, но что, бесспорно, имеет какое-то

скрытое значение, что она – «медиум».

Сидят девушки за столом уже около получаса, положив на край его пальцы таким образом, что конец мизинца одной прикасается к мизинцу соседки. Таким образом составлена непрерывная цепь. Вызывают «духов». В данный момент ждут появления духа поэта Надсона, по совету его ярой поклонницы Наташи Браун.

– Явись! Явись! Явись! – повторяет «невеста Надсона» – Явись – и сообщи нам, какая жизнь ждет нас там, за гранями бытия!..

– Охота ему тоже являться и тревожить себя ради каких-то девчонок! – шепотом говорит Ника.

– Я думаю, – соглашается с ней Чернова.

– Но он не может не видеть, как его здесь любят, – пылко возражает Наташа и в забывчивости начинает декламировать шепотом:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,
Кто бы ты ни был, не падай душой...

– Брось, милая, брось, лучше послушай, что за загадку я тебе скажу. Что такое: «висит зеленая и пищит?» – кричит Шарадзе.

– Лампа! – хохочет «Золотая рыбка».

– А зачем тогда пищит?

– Mesdames, тише! Или духов вызывать, или шарады раз-

гадивать, что-нибудь одно, – сердится белокурая «невеста Надсона».

– Все равно, надо свет погасить. При свете он не пожелает явиться, – говорит Хризантема.

– Согласны, согласны. Тушите.

– Страшно, Mesdames, в темноте... – шепчет Маша Лихачева.

– Тебе-то уж нечего бояться вовсе, – острит Ника; духи к тебе-то не подойдут: от тебя духами за версту пахнет. Чихать будут, а духам чихать нельзя.

– Mesdames, я гашу свет. Сидите смирно.

В «клубе» сразу становится темно. Только луна, плывя в далеких ночных облаках, заглядывает в комнату и бросает свои призрачные блики на лица девушек, сидящих за столом. Напряженная тишина водворяется в комнате. Чего-то сосредоточенно ждут.

Наташа Браун вперила глаза в дверь (ей почему-то кажется, что дух, как живой человек, должен войти не иначе как через дверь), и губы ее шепчут беззвучно:

– Ты войдешь сейчас, прекрасный поэт, бледный и чернокудрый рыцарь искусства, и целый мир неведомых радостей принесешь с собой. Ты расскажешь нам, какие дивные гимны слагаешь теперь в загробном мире... Явись же, скорее, дай возможность увидеть твой кроткий образ, твой дивный лик...

– Селедка! Не лампа, а селедка! – вдруг неожиданно раз-

дается среди абсолютной тишины торжествующий голос Шарадзе.

– Что такое?

– Ну, да селедка. Висит, потому что ее повесили; зеленая, потому что ее в зеленую краску выкрасили, а пищит, – для того, чтобы труднее разгадать было.

– Так это она про шараду... Ха-ха-ха!..

– Mesdames, это свинство. Тут настроение нужно, а они хохочут – сердится Наташа Браун.

– Ах, Господи! Дух под столом, кажется, за ногу меня схватил!

– Лихачева, стыдись, такая большая и такая...

– Глупая... Очень может быть, – беззаботно говорит Маша. – Воля ваша, скучно сидеть и ждать у моря погоды. Не очень-то любезные господа ваши духи, должна я сказать.

– Mesdames, mesdames! Смотрите, какая красота! – и Ника Баян поднимает к верхнему, не замазанному известью стеклу окна восторженное, восхищенное личико.

Действительно, красиво.

Луна, бледная таинственная красавица, движется медленно среди облаков по залитой ее млечным сиянием лазури. Горы, пропасти, ущелья, башни, замки и дворцы возвышаются там за ней... И кажутся они серебряными в ее обманчивом сиянии.

– Сейчас, я чувствую, должно совершиться нечто, – говорит Наташа Браун, и белокурая головка ее снова поворачи-

вається в сторону двери.

Все вздрагивают. Нервы невольно напрягаются.

Так и есть... Тихие, едва уловимые шаги слышатся в коридоре. Кто-то словно подкрадывается в ночной тишине.

«Он!» – бурно колотится сердце в груди Наташи.

Все ближе, все слышнее шаги... Девушки притихли и насторожились... Даже Баян не шутит. Даже смугленький Алеко не смеется над «настроением», подруг против своего обыкновения.

Кто-то идет... Крадется по направлению к «клубу»... Невольная жуть охватывает сердца девушек. Рук сцепленные пальцами, дрожат. А шаги все ближе и ближе... Сердца трепещут и бьются.

– Боже мой! – срывается у кого-то подавленным звуком.

Все явственнее, чудится, как кто-то притаился по ту сторону двери и берется за дверную ручку.

Все бледнеют. Невольно захватывает дыхание в груди... Пересыхают мгновенно губы... Пугливым ожиданием горят глаза... Вот-вот, чудится, отворится дверь пресловутого «клуба»; войдет некто бесформенный, бестелесный, светлый, как облако, и жуткий, как мрак... Теперь ожидание достигло высшей точки напряжения. Сердца заколотились шибко-шибко у девяти взволнованных девушек.

Дверь скрипнула и распахнулась настежь...

И дружное испуганное «ах» вырвалось у всех девятиерых.

Глава XII

Белая фигура стройной институтки с маской на лице перешагнула порог клуба. И в тот же миг жалобно прозвучал высокий взволнованный голосок:

– Зачем вы потушили огонь? Зачем сидите в темноте? Ах, как страшно!

– Лиза! Лизанька! Ты?

Черная маска скользит вниз, и встревоженное лицо Лизы Ивановой появляется чуть озаренное лунным светом. Лиза смотрит на юных спириток большими испуганными глазами. Спиритки – на Лизу.

– Что за маскарад? Почему ты в маске? Что случилось? Да говори же. Говори скорей.

Спиритический сеанс прерывается. Тревога росла. Не до вызова тени теперь, когда настоящая жизнь предъявляет свои права.

– Mesdames, я сейчас от Таиточки, Стеша приходила и просила зайти к сестренке. Глаша все время капризничает и блажит. Я боялась быть узнанной и надела, маску. Так, думаю, не узнает Ханжа, если встретится невзначай. Слава Богу, никого не встретила. Но Таиточку не успокоила тоже. Девочка плачет, капризничает весь вечер и все зовет «бабушку Нику». Ефим с ног сбился, трясется от страха. Того и гляди плач Таиточки привлечет внимание начальства.

– Меня она зовет, ты говоришь? Ника быстро срывается со своего места.

– Да, да...

– В таком случае бегу.

– Стой, стой! Надень мою маску на всякий случай.

– Да захвати мой платок. Давай я закутаю тебя хорошенько... Так. Теперь ты – таинственная фигура в черном, с маской на лице, ни дать ни взять, героиня какого-нибудь старинного французского романа, – смеется черненький Алеко.

При свете луны Ника, действительно, имеет фантастический вид. В разрезах черной бархатной маски Таинственно мерцают ее глаза. Темный платок драпирует наподобие плаща всю ее тоненькую гибкую фигурку. Длинная нижняя собственная юбка темно-синего цвета, доходя до пяток, делает ее выше ростом, стройнее.

– Прощай, прощай, и помни обо мне! – патетическим жестом поднимая руку кверху, басит она пародируя слова тени отца Гамлета, одного из лиц бессмертной шекспировской трагедии.

– До свидания, дети мои. Иду. Если Ханжа встретится, клянусь, испугается и ударится в бегство.

– Вне сомнения, ибо ты страшна сейчас, как смертный грех.

– Тем лучше для меня. Тем хуже для нее. Addio.²² Скрываюсь.

²² Прощайте.

Ника давно исчезла, а восемь оставшихся в «клубе» девушек с присоединившейся к ним девятой, Лизой, долго еще беседовали и делали предположения по поводу Глашиного беспокойства.

– И чего она капризничает, право. Все, кажется, у нее есть. и шубка, и белье, и платье, и конфеты, и в сберегательной кассе две с половиной сотни на ее имя лежит... – резюмирует Тамара.

– Боже, Тамара, как ты, однако, наивна, – волнуясь, замечает Золотая рыбка, – во-первых, Таиточка еще слишком мала, чтобы понять такую важную вещь, как лежащие на книжке в сберегательной кассе деньги, а во-вторых... К чему ей и шубка, и нарядное платье, когда она целыми днями сидит взаперти в своей сторожке.

– Неправда, она гуляет.

– Несчастливая! Это она называет гулять: постоять четверть часа на пороге мертвецкой при открытой двери на крыльцо.

– Ах! – и маленькая ладонь Шарадзе изо всей силы шлепает себя по лбу.

– Что такое? Что с тобой?

– Идея, mesdames, идея!

– Новая задача или шарада, конечно? – иронизирует Золотая рыбка своим стеклянным голоском.

– Да, если хотите, это – шарада, но такая шарада, которую не решит никто.

– А ты решила?

– Я решила.

– Двенадцать тебе с плюсом за это, – и Маша Лихачева посылает армянке воздушный поцелуй.

– Говори же, говори, Тамара! – звучат кругом голоса заинтересованных девушек.

– Вот в чем дело, mesdames. Ведь Скифки нет в институте.

– Нет, но это не шарада, а решенный вопрос.

– И не будет еще с неделю по крайней мере.

– Да, почти целую неделю.

– А комната ее пуста.

– Разумеется.

– А Тайночке нашей адски надоела сторожка.

– Надоела, понятно.

– Так нет ведь Скифки в институте, – повторила Шарадзе.

– Нет, что ж, из этого наконец?

– Ну, так вот, нельзя ли временно перевести Тайночку к Скифке, предварительно наказав нашей милочке ничего не трогать. В комнате Скифки... Тайночке будет там у нее хорошо: и воздух другой и постель мягкая и простору больше. Да и мы больше времени уделять ей можем, не рискуя попасться на глаза Ханже. Что, mesdam'очки, какова моя шарада? – и Тамара сияющими глазами обвела подруг.

– Она гениальна!

– Молодчина, Шарадзе!

– Умница, Тamarочка!

– Шарадзе, браво! Бис!

– Тер-Дуярова, придите в мои объятия, я вас расцелую! – комически приседает перед армянкой Золотая рыбка.

– Качать Шарадзе! Качать!

– Mesdam'очки, тише! Тише! – звучит грудной низкий голос Земфиры. – Вы так кричите, что на другом конце города слышно. Ведь сборище наше не разрешено начальством, прошу не забывать.

Но ее никто не слушает. Тамару подхватывают на руки и качают. Ночные туфли валяются с ног армянки, она хочет их схватить, но Золотая рыбка предупреждает ее желание, подхватывает их со смехом высоко держа их над головой потрясает ими как трофеем победы и мчится с ними из «клуба» в дортуар. За ней летят, едва сдерживая готовый вырваться из груди хохот, остальные. Вся нестройная маленькая толпа несется, шаркая туфлями и шелестя нижними юбками, в дортуар.

Едва достигнув порога умывальной, все сразу останавливаются у дверей. Зловещий, отчаянный, полный нечеловеческого ужаса крик несется откуда-то издали, со стороны нижнего коридора.

– Что это, mesdames? Что это?

– Ааа!.. – и со слабенькой Хризантемой делается истерический припадок.

– Убивают кого-то... – шепчет Шарадзе, и в черных глазах армянки разливается ужас.

– В дортуар скорее, в дортуар!

Вся маленькая толпа испуганных девушек ринулась, дрожа, в спальню. Там царит тот же ужас. Все проснулись. Волнуясь, смущенные и испуганные, Допытываются друг у друга:

– Кто это кричал так страшно?

– О, Господи, что случилось внизу?!

И с замиранием сердца прислушиваются к звукам, раздающимся вдалеке. Но ничего особенного не слышно.

Капает по капле в бассейн вода из крана. Институт спит. И выпускные, несколько успокоившись, мало-помалу ложатся по своим постелям. Вечер подходит к концу. Начинается ночь.

Между тем вот что произошло в то же самое время в нижнем коридоре.

Уже за чаем Заря Ратмирова обратила всеобщее внимание своим рассеянным видом, задумчивость и тревожным выражением глаз. Когда четыре ее одноклассницы, оставшиеся на рождественские каникулы в институте, поднялись в дортуар, Заря проскользнула мимо заговорившейся с кем-то Зои Львовны дежурившей в этот день у второклассниц, и спустилась в нижний лазаретный коридор.

Сердце девочки билось тревожно. Вот уже несколько дней, как юная княжна Заря не видит своего кумира – Нику Баян. Холодно встречают ее обычно ласковые глаза Ники, когда она, Заря, вливается взглядами в Нику на общей молитве или в зале, или в коридоре при встречах.

«Конечно, Ника Баян – талант и красавица, конечно, она „само очарование“», – придерживаясь институтского лексикона, говорит сама себе Заря, но... но... ведь ласкова же она со всеми другими и больше всех с этой глупой белобрысой девчонкой, которая отняла у нее, Зари, Никину любовь. Недаром же следит за ними изо дня в день Заря и видит, как почти ежедневно Ника прокрадывается в сторожку, где живет эта «белобрысая дрянь». Заря с ненавистью вспоминает о Глаше. Не будь ее, Ника Баян не отдала бы этой девчонке весь свой досуг и продолжала бы в свободное время бывать с ней, Зарей, княжной Зиновией Ратмировой («Зарей» она почему-то называла себя в раннем детстве, и с тех пор это имя так и осталось за ней).

Сегодня Заря решила подкараулить Нику на пути ее следования в сторожку и серьезно переговорить с ней обо всем. О! Она не может молчать больше. Ника измучила ее своим невниманием и презрением. И за что? За что? Серо-синие глаза Зари сверкают в полумраке лестницы, куда она спешит для встречи с Никой. Целый день она издали следила за Баян, карауля каждый шаг ее, каждое движение. Но Ника, как нарочно, не выходила из классной. Значит, она решила после чая идти навестить эту противную Глашку, о существовании которой, благодаря своему тонкому выслеживанию, узнала Заря.

Княжна Ратмирова спустилась с лестницы и повернула в сторону лазарета. Через дверь последней хорошо видно

освещенное окно Ефима, и сам он у стола с газетой в руках. Слышен тихий, «блажной» плач Глаши и уговаривания добряка-сторожа.

«Противная... Капризная... Скверная... Есть в ней что любить, нечего сказать!» – со злостью думает Заря, прислушиваясь к капризным всхлипываниям разбушевавшейся Глаши.

У дверей лазарета – выступ. Заря садится на него. Из окон круглой комнаты, сквозь стеклянную дверь ее светит месяц. Причудливые блики бегают и скользят по каменному полу и белым оштукатуренным стенам. И кажется расстроено-му воображению, что чья-то белая тень бродит по круглой комнате... Совсем некстати припоминается покойная Катя Софронова, лежавшая здесь до минуты отпевания, два года назад, среди кадок с тропическими растениями... Как мертвенно бледно было юное личико усопшей. И как отчаянно рыдала тогда здесь в этой комнате осиротевшая мать...

Вот ее, Зарина, мама будет так же горячо и иступленно плакать, если, не дай Бог, умрет она, Заря. Ведь они только двое на свете, два оставшихся отпрыска угасающего рода князей Ратмировых. Они очень бедны, несмотря на княжеский титул: живут на маленькую пенсию, доставшуюся им после смерти отца. И обе они такие тихие, молчаливые, «таинственные какие-то», и мама и сама она, пятнадцатилетняя Зиновия. И вот эти-то «тихость» и «молчаливость» и пленили, должно быть, капризную и требовательную нату-

ру талантливой и избалованной всеми Ники Баян. Пленили, но ненадолго. Теперь Ника Баян чуждается ее, не хочет дружить с Зарей, не хочет даже знать ее. При одной этой мысли слезы закипают в груди княжны и обжигают глаза.

– Отчего я такая несчастная, одинокая? – лепечет про себя Заря. – Нет, лучше уж умереть, как умерла Катя Софронова... – Ведь если умрет она, Заря, поставят ее здесь, в этой самой круглой комнате, среди зеленых латаний и мирт.

Теперь, когда Заря смотрит сквозь стеклянную дверь, ей кажется, что она видит облитый лунным светом гроб среди белой круглой комнаты, а на высоко поднятых подушках – восковое мертвое личико, свое или Катино, – она разобрать не может.

Видение это настолько явственно, что она начинает дрожать. Холодный пот выступает у ней на лбу. Сердце замирает в груди... Дрожит хрупкое тельце...

– Не надо смотреть, не надо, а то, Бог знает, что еще почувдится потом, – зажмуривая глаза, говорит сама себе Заря и быстро поворачивается спиной к окну. С облегченным вздохом раскрывает она глаза снова и... – о ужас! – видит: тонкая темная фигура с черной маской на лице стоит перед ней в зловещем и жутком молчании, как черный призрак смерти.

– Ааа!.. – страшным душу раздирающим криком ужаса, испуга и отчаяния вырывается из груди Зари, и она, вся холодная и трепещущая, отступает к двери.

Этот-то самый крик и был услышан группой выпускных

институток в верхнем дортуарном коридоре.

Он же потряс и все существо черной замаскированной фигуры.

– Заря, вы? Успокойтесь, это я. Заря! Смотрите же это я, Баян, Ника Баян... Я снимаю маску.

Действительно, черная маска поднимается на лоб, и из-под нее выглядывает знакомое, дорогое Заре, личико Ники. Забыв весь мир, бросается Ратмирова на грудь Баян и шепчет почти задохнувшись от волнения:

– Ника, дорогая, милая, любимая... О, как вы меня испугали. Я давно вас жду здесь. Я часто стерегу вас около сторожки... Я знаю, вы каждый вечер ходите сюда... Наконец-то, наконец-то дождалась я вас, милая Ника! – и Заря горячо обнимает первоклассницу.

Но руки Баян осторожно освобождаются от этих объятий, и прелестное личико Ники дышит холодом и презрением, когда она, отчеканивая каждое слово, говорит:

– Вы подсматривали за мной. Вы караулили меня. Вы, как сыщик, выслеживали меня, не давали мне ступить ни шагу... Вы не подумали о том, что могли подвести меня. И подведете, наверное, потому что надо быть глухим, чтобы не услышать вашего крика. И за это... За это... Я ненавижу вас, – добавляет безжалостно Баян, глядя в глаза, княжны злыми негодующими глазами.

– Ника! Ника! – лепечет в ужасе Заря.

– Да, да, ненавижу! – с той же безжалостностью подхватывает

вает Ника, – потому что вы этим подводите не только меня, но и всех пас, а больше всего Ефима и Таиточку, ни в чем неповинных... Вы так закричали, что... Что...

Ника не договаривает и быстро опускает маску на лицо.

– Так и есть, идет кто-то... Бегу... Это Ханжа...

Увы! Отступление уже отрезано. Из-за колонны показывается пестрый турецкий капот, а за ним и сама его обладательница, Юлия Павловна Гандурова.

– Кто вы такая? Это вы кричали? – повысив свой и без того высокий голос, спрашивает инспектриса.

Ника, не отвечая ни слова, быстрым прыжком вскакивает на первые ступени лестницы, минуя протянутую было к ее руке костлявую руку, и мчится стрелой вверх. Заря стоит одна, как убитая.

– Ага!.. Ратмирова здесь!.. Что вы делаете тут одна в темноте и кто это был сейчас с вами? – спешит госпожа Гандурова, мелкими шажками приближаясь к растерявшейся воспитаннице.

Заря бледна, как полотно. Синие глаза сверкают отчаянием. Ах, ей все равно что бы ни случилось, сейчас. Пусть наказывают ее, пусть хоть исключают из института. Теперь все потеряно, все пропало для нее. Ника ее презирает... Ника не любит ее, называет сыщиком... Как тяжело! Как безумно тяжело! Она точно не видит искаженного гневом лица инспектрисы. Она не чувствует прикосновения этих костлявых пальцев, клещами впившихся в ее нежную руку. Она не слы-

шит того, что говорит Гандурова ей:

– Кто это был сейчас с вами? Отвечайте, отвечайте тотчас же или будет поздно, – в десятый раз гневно повторяет одно и то же инспектриса.

Но Заря молчит. И лицо ее бледно по-прежнему.

– Ну же. Ответите вы мне? Я жду.

Изо всей силы костлявые руки трясут худенькие плечи воспитанницы. И от этой тряски словно просыпается Заря.

– Вы желаете мне отвечать?

– Что? – чуть слышно срывается с губ Зари и бледное лицо княжны поводит судорогой. Какая-то мысль проносится под ее рыже-красными кудрями, и дрожащие губы произносят помимо воли:

– Покойная Катя Софронова являлась сейчас ко мне.

– Что-о-о?

Руки Гандуровой бессильно скользят вдоль плеч Зари и повисают, как плети. С минуту она молчит, соображая, дерзость или наивность заключались во фразе оброненной княжной. Но бледное, измученное личико и полные испуга и отчаяния глаза последней доказывают, насколько княжна Ратмирова в эти минуты далека от шуток и дерзостей. И сердце инспектрисы неожиданно смягчается.

– Вы не должны были приходить сюда ночью, Ратмирова, – говорит она уже много мягче. – Я знаю, что вы были очень дружны с покойной Катей, и вам приятно взглянуть хотя бы на то место, где находилась дорогая усопшая. Но,

дителя мое, на все есть свое время. Ступайте сейчас к себе в дортуар и ложитесь в постель. Хотя теперь и рождественские каникулы, но бродить по ночам строго запрещается... Вот видите, вас напугали, а кто напугал, – не знаю. Я должна буду завтра же навести следствие, кто была эта фигура в маске. Во всяком случае – не Катя. Грешно, мой друг, верить в – привидение. Господь Бог милосердный так мудро создал мир, что мертвые не общаются с живыми. Пойдите же и хорошенько помолитесь и покайтесь в своих грехах и в нарушенном вами правиле нашего прекрасного института. Помолитесь и покайтесь прежде, нежели заснуть.

И долго еще скрипел нудный голос Юлии Павловны над ухом Зари, пока девушка не миновала бесчисленные ступени лестницы и не вошла к себе в дортуар.

Здесь она проворно разделась и, юркнув в холодную, остывшую постель, зарылась в подушки и тут только дала волю теснившимся в ее груди рыданиям.

Глава XIII

Как хороша и просторна эта светлая большая комната с большим пушистым ковром, с картинами, развешанными по стенам, со всевозможными безделушками, расставленными на этажерках. А темно-красная оттоманка, покрытая ковром, как удобна она, чтобы чуточку покувыркаться на ней и сделать «кирбитку», то есть, перекувыркнуться несколько раз вниз головой под общий хохот всех этих бесчисленных «тетей»...

Когда Глашу под вечер ее «мама» Земфира и «папа» Алеко привели из сторожки в эту комнату, девочке показалось, что она попала в райские владения. А когда «бабушка» Ника, с помощью «тети» Маши Лихачевой и «дедушки» Шарадзе («Салаце», на языке Глаши) уложили девочку в мягкую чистенькую постель, Глаша даже засмеялась от восторга.

Фрейлейн Брунс должна была приехать только через два дня. И уже четвертые сутки Глаша проводит здесь, в этой комнате, под замком, правда (ключ воспитанницы вытащили из кармана дортуарной Ньюши, которая не считала нужным убирать комнату своей «дамы» во время отсутствия той). Таким образом, Глаша находилась здесь в полной безопасности, и старик Ефим мог вздохнуть свободнее за это время ее отсутствия и самым серьезным образом, без малейшей помехи, отдаться своей политике. Он умышленно оставлял дверь

своей сторожки открытой настежь, чтобы стать, наконец, выше всяких подозрений со стороны начальства.

Обед и лакомства в эти дни носились в «Скифкину» комнату, а не в сторожку, и Глаша блаженствовала здесь под призором очередной «тети» из выпускных.

Последние не оставляли ее одну ни на минуту. Благодаря каникулярному времени, они могли отдавать поочередно время их общей «дочке». И «дочка» чувствовала себя здесь как рыба в воде. Ее занимали, развлекали, баловали, пичкали конфетами по очереди целый день то одна воспитанница, то другая. И если бы не лишение прогулок на свежем воздухе, (которые никак нельзя было устроить, держа Глашу в Скифкиной комнате, так как, чтобы проникнуть отсюда в сад, надо было бы вести девочку через весь институт), то малютке лучшего и желать было нельзя.

А время все катилось да катилось своим чередом. Кончались праздники, съезжались институтки. И обычные занятия и уроки должны были начаться снова по установленной программе.

* * *

Пасмурным, туманным январским утром к зданию Н-ского института подъехали извозчичьи сани. Швейцар, еще одетый по утреннему, без обычной своей красной ливреи, деловито вышел на подъезд и высадил закутанную в платки фи-

гуру.

– Все ли у нас благополучно, Павел? – обратилась к нему с вопросом маленькая женщина.

– Все благополучно. Добро пожаловать, Августа Христиановна.

– А я раньше срока, знаете ли, вернулась из отпуска, Павел; сердце болело все время, думала, не нашалили бы как-нибудь мои проказницы. Просто места не могла себе найти, – говорила фрейлейн Брунс, освобождаясь при помощи швейцара от всех своих теплых платков и шубы.

Затем она прошла на лестницу, поднялась на третий этаж и остановилась перед дверью своей комнаты, находящейся по соседству с выпускным дортуаром, перед дверью, которую к несчастью выпускные забыли запереть в эту ночь.

– O, mein Gott! Was ist denn das?²³ – вырвалось с ужасом из груди немки, лишь только она перешагнула порог своего жилища.

В комнате царила полутемнота, благодаря спущенным шторам и промозглому туманному утру, но было не настолько темно, чтобы зоркие глаза фрейлейн не могли рассмотреть того хаотического беспорядка, который царил в аккуратной, обычно, комнате немки. На полу, на креслах и диване, всюду валялись игрушки: разноцветные кубики, кукла с отбитым носом, плюшевый медведь, тройка лошадей, мячик, кое-что из игрушечного сервиза. Тут же были

²³ О Боже! Что это такое?

небрежно кинуты и принадлежности детского туалета: какие-то юбочки, миниатюрные сапожки и чулочки. А на столе стоял небольшой аквариум с плавающими в нем золотыми рыбками, с юрко скользящими среди трав тритонами.

Но все это было бы еще с полбеды, если бы игрушками, сапожками и аквариумом закончилось дело.

На свое несчастье, Августа Христиановна подошла к постели, находившейся за занавесью, отдернула ее и отступила назад с криком неподдельного испуга. В ее кровати, тщательно прикрытая тигровым одеялом спала маленькая бело-брыся девочка.

Если бы гром небесный прогремел среди январского студеного утра над почтенной головой фрейлейн Брунс, она удивилась бы не больше, нежели присутствию этого безмятежно спавшего в ее собственной постели ребенка.

Крик Скифки разбудил Глашу. Она раскрыла заспанные глаза, протерла их кулачками и неожиданно села на постели.

– Кто ты такая? – обратилась она самым спокойным тоном к очутившейся около нее незнакомой женщине с пуговицеобразным носом и чересчур румяными щеками.

Ах, девчонка еще осмеливается обращаться к ней этим тоном хозяйки!

Августа Христиановна буквально онемела от гнева. Она схватила за руку Глашу, вытащила ее из постели, поставила на коврик перед собой и, захлебываясь от негодования и злости, не могла произнести ни слова.

Так она стояла несколько минут среди своей комнаты.

Между тем, быстро раскрылась смежная с дортуаром дверь, и три десятка черненьких, белокурых и русых головок просунулись в нее.

– Скифка вернулась, mesdames! Все пропало! – Полным отчаяния шепотом вырвалось у Тамары Тер-Дуяровой.

– *Finita la comedia!*²⁴ – Сорвалось с губ смугленького «Алеко».

– Дорогая моя, это ужас, ужас! – готовая разразиться истерическим плачем, крикнула Зина Алферова.

– Мне дурно. Дайте капель, – простонала Валерьянка.

Расталкивая самым бесцеремонным образом подруг, Ника Баян бросилась к Глаше. И прежде, чем кто-либо успел произнести слово, подхватила ее на руки и кинулась с ней вместе в коридор.

Августа Христиановна, красная как пион, негодующая и злая, бросилась вслед за ними. Но Золотая рыбка, осененная быстрой как молния мыслью, не теряя ни на секунду самообладания, в два прыжка метнулась к столу, на котором красовался ее собственный, принесенный сюда накануне для развлечения Глаши аквариум, и приподняв его над головой, изо всех сил брякнула им об пол. Осколки стекла с дрожащим звоном разлетелись по паркету. Золотые рыбки затрепетали. Два тритона кинулись по направлению к раскрытой настежь в коридор двери.

²⁴ Игра окончена!

– Лида! Лида! Что ты сделала, безумная! – бросились к ней подруги.

– Она с ума сошла! Она сошла с ума! – кричала Шарадзе, вытаращив глаза от ужаса.

– Они умерли! Я их убила! – вопила с рыданием Тольская, опускаясь на колени подле погибающих рыбок.

– Ай! Ай! Тритон мне в сапог забрался! – кричала в страхе Маша Лихачева, вскакивая с ногами на диван.

– Ай! – пронзительно визжала Неточка Козельская, а за ней и остальные.

– Успокойтесь, mesdames, тритон не змея, не ужалит вас... – надрывался черненький Алеко.

– Was ist denn das?! О, mein Gott!²⁵ – в тоске и ужасе про-стонала Августа Христиановна, в позе беспомощного отчая-ния застывая на пороге при виде такого Содома.

Этого только и надо было Золотой рыбке. Необходимо бы-ло во что бы то ни стало помешать преследованию и обра-тить на что-нибудь другое внимание Скифки. И ради этого девушка, не задумываясь, пожертвовала своим сокровищем.

– Лида! Тольская! Что ты наделала!

– Спасайте скорее хотя бы рыбок, mesdames, несите ста-кан с водой! – командовала с высоты кресла, на ручку кото-рого она забралась, опасаясь тритонов, Маша Лихачева.

– Но кто же, наконец, мне ответит, что это за ребенок спал здесь? – теряя последнее терпение, взывала Августа Христи-

²⁵ Что это такое? О Боже!

ановна. – Мари Веселовская, не пожелаешь ли ты мне объяснить все это. Как самую благонадежную и корректную воспитанницу спрашиваю я тебя... Слышишь? – и грозное лицо обратилось к тихой Земфире.

Мари, обычно бледная, теперь с двумя яркими пятнами пылающего румянца на щеках, выступила вперед.

– Не смей говорить ни слова! – вдруг вынырнув из толпы подруг, с угрозой бросил ей черненький Алеко.

– Что такое? Бунт? Заговор? Единица за поведение! Чернова, да как ты смеешь! – вся дрожа от гнева, накинулась на нее Августа Христиановна.

Мари с негодованием взглянула на подругу.

– Что ты! Что ты! Как ты могла подумать, что я могу обмолвиться хотя бы единым словом, – гордо отвечала она.

– Ага! И ты заодно с ними! Лучшая ученица и тоже бунтовать! – зловеще продолжала немка.

– Дорогая моя, успокойтесь, дорогая моя... – в полном забвении Зина Алферова кинулась в объятия Скифки.

– Прочь! Какая я тебе «дорогая»? Ты забылась! Молчать!

– Не кричите на нас. Мы не маленькие, мы седьмушки, – раздался за спиной фрейлейн Брунс спокойный голос.

Августа Христиановна быстро поворачивается назад. Перед ней Ника Баян, улыбающаяся, уравновешенная, как будто ничего не случилось. Немка до того растерялась, что осталась стоять с минуту с широко раскрытым ртом и вытаращенными от глубокого изумления глазами. Ведь не прошло

пяти минут, как эта самая Баян уносила отсюда белобры-
сую девчонку, а сейчас она, как ни в чем не бывало, снова
здесь. Положительно дьявольское наваждение какое-то, да и
только. Прошло добрые две минуты, по крайней мере, пока
Брунс обрела снова утерянную было способность говорить.
Едва не задохнувшись, она выдавливает наконец из себя сло-
ва, то краснея, то бледнея.

– Откуда этот ребенок? И почему она лежала в моей по-
стели, ты должна мне ответить, Баян.

Ника Баян делает самое невинное лицо, услышав послед-
нюю фразу.

– Ах, Боже мой, простите ради Бога, фрейлейн... – гово-
рит она с ангельской улыбкой: – мы очень виноваты перед
вами. Вы не узнали этой девочки? Как странно. А между тем
вы уж видели ее раз. Это – княжна Таита Ульская, моя кузи-
на. Вчера был последний вечер рождественских каникул, и
ее привели в гости ко мне. Привела нянюшка.

Ей сделалось дурно, то есть нянюшке, а не Таите, конеч-
но. Мы отправили ее в больницу, а девочку оставили до утра
у нас. Мы не смели этого делать без вашего разрешения, ко-
нечно, но Таита буквально засыпала у нас на руках, и мы
уложили ее у вас. Кто же знал, что вы вернетесь сегодня. Мы
извиняемся, фрейлейн, перед вами, а после уроков пойдем
извиниться и перед самой «тапан» за то, что не попросили
у нее разрешения оставить на ночь девочку.

Голос Ники звучит так убедительно, так кротко, что не

поверить ей нельзя. И прелестные глазки с такой нежностью и покорностью смотрят в взволнованное лицо Августы Христиановны, что мало-помалу та невольно успокаивается, приходит в себя. Особенно поражает Скифку то обстоятельство, что эта «отчаянная» девчонка не хотела делать из их поступка секрета и даже намеревалась довести его до сведения самой генеральши. И это последнее обстоятельство сразу примиряет фрейлейн Брунс с ее проказницами.

– Куда же ты девала твою... Твою... кухню? – все еще не сдаваясь, сурово спрашивает она Нику.

– Она у Зои Львовны Калининой. Я принесла ее туда и попросила приютить ее на время, пока за ней не пришлют из дома.

– Ах, ах... Но зачем же туда, когда моя комната... – совсем уже растерянно и смущенно лепечет Брунс.

– Но, фрейлейн... Вы же так приняли девочку, что мы не решились... – совсем уже покорно, тоном оскорбленной невинности произносит Ника. – Разрешите только собрать ее вещи и игрушки. Можно?

– И поймать тритонов... – Слышится другой робкий голос.

– И убрать осколки разбитого в замешательстве аквариума... – звенит третьи.

Фрейлейн Брунс так подавлена всем происшедшим, что не вдается в подробности Никиной исповеди, которая грешит на каждом шагу против истины и здравого смысла. По-

чему, например, нет теплого верхнего платья между вещами девочки? Отчего здесь разбросана такая масса игрушек, как будто маленькая гостья не случайно попала сюда, а гостит уже давно? И почему, наконец, родители или родственники этой маленькой таинственной княжны, у которой, кстати сказать, вид и внешность далеко не княжеские, – не прислали за ней с вечера, а оставили ночевать в чужом месте, среди чужих людей? Ведь должны же были сообщить туда институтки, что нянька заболела и ребенок остался здесь.

Но все эти случайные мысли приходят много позднее в голову Августы Христиановны, уже тогда, когда порядок в ее комнате водворен, следы гибели аквариума затерты и два тритона и золотые рыбки торжественно водворены в банку с водой.

Но воспитанницы не могут уже быть свидетельницами снова возникших мук фрейлейн и ее сомнений. Они спешно одеваются в дортуаре в ожидании утреннего звонка.

Глава XIV

Прошли Рождество, Новый Год, Крещение. Прошло веселое каникулярное время, и однотонная институтская жизнь снова вступила в свои права, как река, вкатившаяся после половодья в свое обычное русло.

Стоял один из будничных учебных дней. Только что закончилась большая послеобеденная перемена. Воспитанницы вернулись с прогулки. У выпускных по расписанию значился урок физики. Симпатичный, немолодой, с заметно седеющими висками инспектор классов, он же и преподаватель физики и естествознания в Н-ском институте, Александр Александрович Гродецкий, пользовался общей любовью и уважением всего учебного заведения. Справедливый, гуманный, отечески заботящийся о вверенных ему воспитанницах, он, вместе с генеральшей Вайновской, тратил все свои силы, все свое здоровье и энергию на высокое дело воспитания многих поколений институток. Его прямые, честные, открытые глаза, его в душу вливающийся голос, его умение заинтересовывать на лекциях самым методом преподавания – невольно привлекали к нему все молодые сердца. Сегодня Гродецкий должен был объяснить воспитанницам устройство электрической машины. Его давно уже ожидали выпускные. В физическом кабинете, небольшой круглой комнате, находившейся против церковной лестницы, бы-

ло тщательно надушено каждое кресло, каждый уголок. Об этом позаботилась Зина Алферова, выменявшая у Мани Лихачевой целую банку духов за семь порций сладкого, от которого стойчески отказывалась целую неделю. На кафедру она положила кусок мела, завернутый в надушенную же папиросную бумажку розового цвета и перевязанный розовой лентой с бантом.

Когда Александр Александрович вошел в физический кабинет, выпускные поднялись со своих мест и присели, как один человек, низко и стройно.

– Сегодня у нас пояснение электрической машины, не правда ли?.. – со своей обворожительной доброй улыбкой произнес инспектор.

И хор воспитанниц поспешил ответить:

– Да.

«Какой чудный человек этот Гродецкий!» – мысленно шептала Зина Алферова, находясь подле инспектора и не сводя с него глаз. Она, как заведующая физическими аппаратами, имела возможность чаще и больше остальных встречаться с Гродецким. Сегодня же девушка решила привести в исполнение то, что было задумано ею уже больше месяца. Зина горела желанием иметь что-либо на память от любимого учителя. Ей было мало того, что Гродецкий поставил ее хозяйкой над всеми этими колбочками, банками, машинными частями, над всей физической комнатой, куда она, не в пример прочим, имела доступ во всякое время. Она решила,

вооружившись ножницами, отрезать пуговицу от инспекторского вицмундира, чтобы иметь хотя какой-нибудь предмет от него на память. Для этой пуговицы уже наготове была прехорошенькая коробочка, которую она выменяла на две порции сладкого у «тряпичницы» Лизы Ивановой. В коробочке лежала розовая, сильно надушенная ватка, точно приготовленная для какой-нибудь драгоценной вещи. Оставалось только добыть саму пуговицу. И с этой целью Зина приблизилась, к Александру Александровичу в то время, Когда он, стоя у машины, пытался привести ее в движение и протянула вперед дрожащую руку вооруженную ножницами.

Класс, оповещенный заранее насчет плана ее действий, замер в ожидании.

– Итак, mesdames, вы видите всю несложность устройства механизма подобной машины, где главной движущей силой является... Ах, что это такое?

Красивый, сочный голос Гродецкого оборвался на полфразе. Он почувствовал, как кто-то дергает его за фалду вицмундира. Гродецкий обернулся.

– Госпожа Алферова, что с вами? Что с вами, госпожа Алферова?

Бедная Зина! Едва ли когда-либо чье-нибудь лицо имело способность так краснеть, как покраснело лицо Алферовой в эту минуту. Слезы смущения были готовы брызнуть у нее из глаз, в то время, как рот улыбался жалкой улыбкой, похожей более на гримасу, нежели на улыбку. В протянутой к учите-

лю руке она, совершенно растерянная, держала пуговицу.

– Вот... только... это... Я взяла на память... Только это...

Простите меня... – пролепетала она с лицом, напоминавшим в эту минуту спелый помидор.

– Воля ваша, ничего не понимаю... Ради Бога, объясните mesdames? – обводя растерянным взглядом свою аудиторию, спросил Гродецкий.

Легкий шепот пронесся по физическому кабинету.

– Она, Александр Александрович, хотела иметь от вас на память что-нибудь, – послышался голос Тер-Дуяровой.

– А!!!

Обычно бледное лицо Гродецкого покрылось легким румянцем.

– Так вот оно что! Я очень польщен вашим вниманием, госпожа Алферова, но... но... Зачем же такое странное, своеобразное выражение симпатии? – произнес он, обращаясь к насмерть переконфуженной Зине. – Я человек небогатый, живу исключительно на жалованье и заказывать себе новые фраки часто не могу. А вы, отрезая пуговицу, могли испортить и сам фрак, неумышленно, второпях, конечно. Во всяком случае, вы напрасно поторопились, – поспешил он добавить, при виде несчастного лица Зины, – я уже давно имел в виду поднести вам маленький сюрприз на память в виде электрического фонарика в брелке – в благодарность за образцовое содержание физического кабинета и за ваши заботы о нем. Фонарик, к сожалению, еще не готов, и я буду

иметь честь принести его вам, как только он будет мне доставлен. А что касается отрезанной пуговицы, то я просил бы вас вернуть ее мне обратно, чтобы я мог пришить ее на место.

Малиновая от стыда, Зина поневоле должна была исполнить желание Гродецкого. Ей хотелось самым искренним образом провалиться сквозь землю в эту минуту. А среди воспитанниц уже проносился легкий чуть слышный шепот:

– Счастливица! Счастливица! От самого Александра Александровича получишь «память»! И везет же этой Зинке!

Но сама Зина, смущенная всем происшедшим, менее всего ощущала удовольствие от будущего подарка. Все еще малиновая от стыда, она низко-низко присела перед инспектором и, пролепетав в забывчивости: – «Дорогая моя... Мерси... Большое вам спасибо...» – нырнула под взрыв неудержимого смеха в задние ряды аудитории.

Покачивая головой и улыбаясь, Александр Александрович Гродецкий возобновил урок. Ни он, ни его слушательницы не подозревали о новом сюрпризе, который готовила им всем в конце этого же урока неумолимая проказница судьба.

* * *

– Итак, mesdames, мы видим из всего вышеизложенного и подтвержденного наглядным опытом, произведенным на

глазах ваших с электрической машиной, что силы природы, казалось бы такие непонятные на первый взгляд, имеют свое точное объяснение. Если какое-либо из явлений приро...

Гродецкий не договорил фразы, умолк на полуслове и устремил удивленные глаза на дверь. Взоры всех присутствовавших на уроке физики воспитанниц тоже обратились в том же направлении и тихое «Ах!» пронеслось по физическому кабинету. Даже Не точка Козельская, мирно дремавшая в своем уголке, широко раскрыла свои мало выразительные глаза и проронила тихий возглас удивления.

– Таита! Тайночка! Тайна!.. – пронесся испуганный шепот.

Действительно, это была она. Маленькая белобрысая девочка, как ни в чем не бывало, своей слабой ручонкой распахнула дверь физического кабинета и, остановившись на пороге его, закинув одну руку в рот и протягивая вперед другую, вооруженную каким-то темным замусленным кусочком съестного, произнесла:

– А мне пляник дедуська Ефим дал нынче. А у вас нет пляничка?

– Откуда ты, прелестное дитя? – продекламировал Александр Александрович Гродецкий стих из пушкинской «Русалки», обращая на странную посетительницу изумленный взгляд.

Но «прелестное дитя» и не думало удостоить его ответом. Быстро обежали ряды воспитанниц проворные лукавые гла-

зенки Глаши, и она весело вскрикнула, остановив их на хорошо знакомом лице:

– Бабуська Ника, я хочу к тебе! – и бросилась через всю комнату по направлению к своей любимице.

Со смущенными и сконфуженными лицами сидели воспитанницы, виновато глядя в лицо любимого наставника. Если бы это случилось в присутствии классной дамы, они, не задумываясь, наплели бы целую историю по поводу злополучной и вездесущей «княжны Таиты», случайно снова волей судеб попавшей под институтскую кровлю. Но лгать Гродецкому никто не имел охоты. Его слишком любили и уважали, чтобы желать провести. И вот, словно по общему уговору, с самым решительным видом поднялась с места смуглая, стройная девушка.

– Александр Александрович, – прозвучал бархатный голос черненького Алеко, и цыганские глаза Шуры Черновой серьезно и торжественно взглянули в самую глубину глаз инспектора, – верите ли вы нам, что мы, ваши воспитанницы, не сделали и не сделаем ничего бесчестного, подлого и дурного?

И сказав это, она замолкла в ожидании ответа.

Взгляд Гродецкого в одно мгновение обежал лица присутствующих. Вот они, все эти милые, доверчиво обращенные к нему личики. Все эти черные, серые, голубые, безусловно честные и открытые глаза. Разве можно усомниться в их правде? Разве можно усомниться хоть раз в честности этих

открытых, ясных, еще совсем детских взоров? И не колеблясь ни минуты, он ответил:

– Разумеется, я вам верю.

– Тогда... Тогда доведите ваше доверие до конца и не спрашивайте нас ничего об этой девочке, ни об ее неожиданном появлении. Мы не можем пока сказать правду, а солгать вам у нас не повернется язык. Придет время, и мы вам все расскажем... А пока мы просим вас умолчать обо всем том, что здесь сейчас произошло.

Что-то искреннее и убедительное прозвучало в голосе и тоне смугленького Алеко, и честным, прямым открытым взглядом еще раз выглянули на Гродецкого ее большие цыганские глаза.

Последний помолчал с минуту и еще раз обведя всю свою аудиторию пронизывающим взором, произнес громко:

– Я верю вам на слово, верю тому, что нет ничего предосудительного, неблагородного в вашем секрете, и обещаю молчать. Верю вам, что когда придет время, вы самым чистосердечным образом расскажете мне обо всем. Вы даете мне это слово за всех госпожа Чернова? Да?

– Даю за всех... – не колеблясь ни минуты, произнесла Шура.

Вздых облегчения вырвался у всех тридцати пяти девушек одновременно.

Предварительно испросив разрешение у Гродецкого увести Глашу, Ника Баян провела ее вниз. Там, в сторожке, она

долго и подробно давала инструкции испуганному Ефиму по поводу более тщательного ухода за Глашей.

– Нельзя оставлять дверь открытой... Она опять убежит... Попадется еще на глаза начальству. Ах Ефим, следите вы за ней хорошенько. Ведь так недалеко и до греха.

Ефим, который весь ушел с головой в последние политические события, описываемые газетами, сердито накинудся на Глашу.

– Ах, баловница! Ах, бесстыдница! В могилу ты меня свести хочешь! Воля ваша, барышня, придумайте, куда ее убрать. С каждым днем все с ней труднее и труднее делается. Больше сил моих с ней нет.

– Хорошо, я подумаю, – кивнула головкой Ника и, строго наказав Глаше не покидать больше сторожки, снова вернулась в физический кабинет.

Глава XV

Промчалась, как вихрь, веселая масленица, хотя и без особых новых впечатлений на этот раз. Съездили всем классом в оперу на «Жизнь за Царя». Бредили долгие дни Сусаниным. Восторгались Ваней. Эля Федорова затягивала несколько сотен раз, немилосердно фальшивя при этом, песню Вани «Лучинушка».

Но каждый раз на нее махали руками и шикали, заставляя молчать. Еще слишком сильно было впечатление, слишком ярки образы первоклассных исполнителей, чтобы подражание, будь оно даже безукоризненное, не казалось кошунством, а тем более фальшивое пение Эли.

Как-то раз выпускных повели на прогулку. Одетые в темно-синие ватные пальтишки казенного типа, с безобразными шапочками на головах, институтки в этом уборе подурнели и постарели лет на пять каждая. Даже хорошенькая Баян и красавица Неточка выглядели ужасно. Но, несмотря на это, проходящая публика очень охотно заглядывалась на разрявившиеся на морозе личики, на ярко поблескивающие юные глазки. Сбоку, с видом всевидящего Аргуса, путешествовала Скифка, поглядывая зорко по сторонам, хотя старалась казаться непричастной к шествию.

На перекрестке столкнулись с толпой кадетиков. Румяный толстощекий мальчуган уставился на Нику.

– Помилуй Бог, да ведь это Никушка!

– Вовка!

И Ника Баян кинулась навстречу младшему брату.

– Приходи в воскресенье на прием, – оживленно шептала она, пользуясь минутным невниманием Августы Христиановны.

– Всенепременнейше. Даю мое суворовское слово честного солдата, и ты поклонись за это от меня кому-нибудь.

– Знаю, знаю, Золотой Рыбке, – хохотала Ника.

– Ну, понятно, ей. Помилуй Бог, угадала. Она славная этакая.

– Баян, как ты смеешь разговаривать с проходящими мужчинами? – словно из-под земли выросла перед ней Скифка.

– Это совсем не мужчины, фрейлейн, а мой брат Володя, – оправдывалась девушка, в то время как карие глазки все еще горели радостью встречи с любимым братом.

– Это неприлично. А это кто? Зачем он так смотрит на тебя, Чернова? – накинулась Августа Христиановна на черненького Алеко, имевшего несчастье привлечь на себя взоры высокого статного кадета, с насмешливо задорными глазами и подвижным лицом.

– Я-то чем виновата, скажите пожалуйста. У него надо спросить, – сердито ответила Шура.

– Зачем вы смотрите так... Так нагло на воспитанниц? – накинулась, не медля ни минуты, на юношу Скифка.

– А разве нельзя? – насмешливо прищурившись, осведо-

мился он.

– Нельзя. Это дерзость. Вы не имеете права так смотреть.

– А вы бы им на головы шляпные картонки надели, тогда уж, наверное, никто бы не смотрел... – ответил кадет.

– Пффырк! – не выдержали и разразились смехом воспитанницы.

– Ха-ха-ха! – вторили им кадеты, быстро удаляясь по тротуару.

– Я так не оставлю. Я буду жаловаться. Я знаю, какого вы корпуса, и с вашим директором лично знакома, – волновалась Августа Христиановна.

– На доброе здоровье, – донесся уже издали насмешливый голос.

– Вы будете наказаны, и Баян, и Чернова, и все.

– Вот тебе раз! Мыто чем же виноваты? – слышались протестующие голоса.

– Still!²⁶ – сердито воскликнула немка.

– Ну, уж это не штиль, а целая буря.

– Тер-Дуярова, что ты там ворчишь?

– Погода говорю, хорошая; солнце греет...

– Будет вам погода и солнце, когда вернемся домой.

– Сегодня Прощенное воскресенье. Сегодня нельзя сердиться... – грустным тоном говорит Капочка, не глядя на фрейлену Брунс.

– Капа, Капа! – шепчет ей ее соседка по прогулке, Баян,

²⁶ Тихо!

когда все понемногу успокаивается и входит в норму. – Как же мы будем с исповедью-то? Ведь про «Тайну» батюшке непременно сказать надо...

– Разумеется. Грех и ересь скрывать что бы то ни было от отца духовного.

– Так что мы, должны сказать?

– Конечно, конечно. Ведь мы лгали, укрывали от начальства.

– Гм...

– Знаешь, Капочка, собственно говоря, ведь...

– Тише, тише, фрейлейн Брунс тут.

Скифка, действительно, уже подле. И как она подкралась незаметно к юным собеседницам? Идет рядом и смотрит подозрительными глазами на обеих девушек. Она давно уже прислушивается и приглядывается ко всему, что происходит в классе. Многое дает обильную пищу ее подозрительности. Она подозревает, догадывается, что вверенные ее попечениям воспитанницы скрывают от нее нечто «весьма важное» и «преступное». Часто ухо ее улавливает странное шушуканье, повторяемое слово «Тайна», «Таита»... Какие-то записочки то и дело циркулируют по классу и исчезают мгновенно при одном ее приближении. Одну из таких записочек у нее на глазах бесследно уничтожила Тольская, эта отвратительная «отпетая» девчонка, когда она, Августа Христиановна, потребовала ей показать. Кроме того, что-нибудь да значат все эти исчезновения из класса то одной, то другой

воспитанницы. Ничего еще, если это – какая-нибудь простая детская шалость, шутка... Ну, а если что-либо более серьезное, если это – Боже упаси! – какой-нибудь заговор? А кто же поручится, что это не так? От этих девушек всего можно ожидать... Нет, нет, надо удвоить старания, раскрыть все эти шашни и довести обо всем до сведения начальства. Так оставить нельзя.

И, решив таким образом дело, Скифка воз вращается в институт. На душе у нее буря. А воспитанницы, как нарочно, находятся нынче в каком-то приподнятом настроении.

– Mesdames, мне необходимо поговорить с классом, – шепчет Баян, оборачиваясь спиной к Скифке и делая значительные глаза в ту минуту, когда вернувшиеся с прогулки институтки занимают свои обычные места.

И вот девушка придумывает способ «выкурить» из класса Августу Христиановну. Она подходит к кафедре и с самым невинным выражением на ангельском личике начинает, обращаясь к той:

– Фрейлейн Брунс, вы давно в институте служите?

– О давно, очень давно, – ничего не подозревая, отвечает наставница.

– Но ведь вы были совсем молодая, когда поступили сюда?

– О, да, молодая, конечно.

– И очень хорошенькая? Очень, очень хорошенькая, должно быть, фрейлейн... – не то вопросительно, не то утвердительно продолжает плутовка.

– То есть?..

Лицо немки вспыхивает и делается багровым. Кто хорошо знает Августу Христиановну, тот мог понять, что лучшего «плана действий» Ника Баян вы брать не могла. Никогда не существовавшая красота – один из «пунктиков» фрейлейн. Она часто любит распространяться о том, какой у нее был ослепительный цвет лица, какие волосы и зубы, когда она была молодой. И после таких разговоров обыкновенно фрейлейн Брунс впадала в меланхолическую задумчивость и шла в свою комнату, где долго сидела разбирая пачки писем, какие-то выцветшие лоскутки бумаги, какие-то засохшие, перевязанные тоненькими ленточками, цветы. Или просиживала чуть ли не целый час перед зеркалом, разглядывая свое отраженное в стекле багровое лицо с пуговицеобразным малиновым носом.

И сейчас, лишь только разговор коснулся милого ее сердцу далекого прошлого, Скифка стремительно поднялась с места и «испарилась, как дым», как говорится на своеобразном языке институток.

– Ура! – закричала Ника, подбрасывая к самому потолку толстый том учебника педагогики. – Ура! Теперь ко мне, mesdames, и как можно скорее!

Ключ, впопыхах оставленный немкой, стучит по кафедре. Воспитанницы на этот призывной звук слетаются со всех углов класса, как птицы, и окружают Нику.

Торопясь, волнуясь и захлебываясь, девушка спешит вы-

лить то, чем болела ее душа за все последние дни.

– Дети мои, дальше так продолжаться не может... – взволнованно говорит она. – Скифка далеко не так глупа, как это кажется. Она догадывается о Тайне, если уже не догадалась вполне. И неминуемая беда грозит нам всем, а Ефиму особенно. Поэтому, пока еще не поздно, надо предотвратить ее. Я думала так много над этим вопросом, что, кажется, мои мозги лопнут и сердце порвется на мелкие куски. Положение ужасное, но, во всяком случае, не безвыходное. И вот что я придумала наконец. Написать обо всем и сердечно покаяться во всей этой истории барону Гольдеру. Ведь наш попечитель и почетный опекун – человек удивительный. Это – рыцарь без страха и упрека. Это – положительно ангел во фраке...

– Баян, как ты можешь кощунствовать таким образом! – возмущается Капа Малиновская прерывая речь девушки.

– Ах, Боже мой, отстань. До подбора ли выражений мне сейчас, сама понимаешь! – волнуясь, говорит Ника и подхватывает с новым подъемом и жаром:

– Мы должны ему написать письмо, чистосердечное, хорошее письмо и покаяться во всем. Так и так: спасите девочку, увезите отсюда, поместите в какую-нибудь хорошую, надежную семью. А мы будем платить за нее... Содержать нашу «дочку». Каждая по выходе из института, будет, по сколько может, посылать Таиточке. Потом ее поместим в учебное заведение. Двести рублей у нее уже лежат на книжке в сберегательной кассе, наберем еще...

– Да... да... – подхватывают горячие голоса: – наберем еще. Будем платить... Заботиться о ней.

– А потом, по выходе ее из пансиона, сделаем ей приданое и выдадим замуж, – неожиданно заключает Тамара.

– И детей ее будем крестить, mesdames.

– И замуж их выдавать.

– Ха, ха, ха! Да нас тогда и на свете не будет! – хохочет Алеко: – третье поколение ведь это, разве одна Валерьянка будет жить еще: она так пропитана своими лекарствами, что ее и смерть не возьмет.

– Остроумно, нечего сказать, – обижается Валя.

– Mesdames, мы уклоняемся от цели, надо составить письмо.

– Да, да, скорее, как можно скорее.

Три десятка юных головок, движимых самыми благородными намерениями, склоняются над, партой Вики, за которой сама она, прикусив нижнюю губу, выводит тщательно своим ровным, мелким, словно бисер, почерком:

*«Ваше
барон Павел Павлович...»* *Высокопревосходительство,*

Затем следует текст письма.

Проходит целый час времени, пока, наконец, оно готово, написано и положено в конверт. Решено в следующий же прием передать его Сереже Баяну, который повезет его лично попечителю.

И, несколько успокоенные, институтки расходятся по сво-

им местам.

* * *

«Биб-бом! Бим-бом!»! – стонет по великопостному церковный колокол из ближайшего городского собора, и крикливо отвечают ему далекие колокола.

По коридорам, особенно нижнему, носится запах жареной картошки, постного масла и кислой капусты. Весь пост едят постное. Говеют выпускные только на последней неделе, но учатся в посту меньше обыкновенного, повторяют пройденное раньше, составляют конспекты и программы для предстоящих экзаменов. Сами учителя относятся как будто менее строго к ответам воспитанниц за последнее время. На шестой, Вербной неделе, у выпускных заканчиваются лекции. Пасха нынче поздняя, и сейчас же после праздников начнутся выпускные испытания, те самые жуткие выпускные экзамены, которые оставят неизгладимый след в институтском аттестате. В Вербную пятницу учителя даже и не спрашивают уроков. Кое-кто из них произнесет на прощанье речь. Все они советуют готовиться как можно лучше к предстоящим экзаменам.

Веселый, полный жизни и юмора француз был очень изумлен, когда перед ним на последнем его уроке неожиданно предстала взволнованная Золотая Рыбка:

– Pardon, monsieur,²⁷ через неделю я иду на исповедь и до тех пор вас больше не увижу, а я так виновата перед вами, – звенит стеклянный голос Тольской, и нежные щеки девушки рдеют румянцем.

– Виноваты? В чем же дитя мое? – несказанно удивлен француз, и лицо его с рыжими бачками и карие, тоже как будто рыжие, глаза смеются.

– Да, да, виновата. Вы мне поставили единицу, а я... я... – задыхаясь, пролепетала Золотая рыбка – взяла и выбрала вас вслед.

– О! – восклицает француз с патетическим жестом и теми же смеющимися глазами. – О, что за ужас! Но как же, скажите, как же вы выбрали меня?

В неописуемом волнении молчит Золотая рыбка.

– Не могу я сказать как назвала вас, ни за что.

Действительно, язык не поворачивается у Лиды Тольской произнести то слово, которым она наградила заочно веселого француза.

– Лукавый попутал... – произносит она по-русски.

– Qui? Qui? Люкав? Mais qu'est ce que c'est?²⁸ – хохочет уже в голос француз.

Учителя словесности после урока ловят в коридоре.

– Простите нас. Мы часто вас изводили, не готовили уроков, – говорит за всех Мари Веселовская, выступая вперед.

²⁷ Извините, господин.

²⁸ Как? Как? Но что это такое?

– Благодарю вас, – смущенно, вместо обычного «Бог простит», роняет Осколкин.

Давясь от смеха, воспитанницы несутся обратно в класс.

А в среду вечером идут просить прощения у высшего начальства. Генеральша целует все эти милые немного сконфуженные личики своих «больших девочек.» Она растрогана. Она любит их всех, знает все их недостатки и достоинства каждой из этих девушек, бесконечно близких ее сердцу. Недаром же на протяжении семи слишком лет следила она за ростом этих живых цветов, таких юных и нежных.

От «тапан» идут к инспектрисе.

– Бог простит, дети, – вместо всяких ожидаемых воспитанницами нравоучений, совсем просто говорит она.

Поднимаются в комнату Скифки.

– Фрейлейн Брунс, простите нас. Мы так виноваты перед вами, – искренне срывается с уст «представительницы» Мари Веселовской.

Немка растрогана не менее начальницы. Малиновое лицо принимает багровый оттенок. В глазах закипают слезы. Редко когда так ласково говорят с ней.

Она кивает головой, не будучи в силах произнести ни слова.

Вдруг струя знакомого, нестерпимо сладкого аромата доносится до ее ноздрей, и Маша Лихачева, вместе с ее неизбежным «шипром», протискивается вперед. Ее тщательно завитые кудерьки теперь развились и беспорядочными кос-

мами падают на лицо. Всегда кокетливо причесанная к лицу девушка, сейчас менее всего думает о своей внешности. Она заметно взволнована, потрясена.

– Фрейлейн Брунс, голубушка, ангел... – говорит она, захлебываясь в своем волнении, – я прошу вас отдельно меня простить. Я так виновата перед вами, бесконечно виновата. Вы помните, я как-то спросила вас, чем кончается знаменитая Гоголевская повесть «Тарас Бульба»?

– Да... да... Помню... – ничего не понимая, роняет немка.

– А вы мне еще ответили тогда: «тем, что Тарас женился на Бульбе».

– Ну, так что же? – продолжает теряться «Скифка».

– А я еще поправила вас и сказала, что Бульба женился на Тарасе... А это все ложь: никто не женился ни Бульба на Тарасе, ни Тарас на Бульбе. Тарас Бульба это одно лицо. Понимаете? Вы русской литературы не можете знать. Вы не здешняя, вы – саксонка. А я смеялась над вами. Простите же вы меня. Я иду нынче на исповедь и прошу вашего прощения.

– Я прощаю... Прощаю... И Бог простит, только не делай завивки, – говорит Августа Христиановна, ласково проводя рукой по всклокоченной головке Маши.

В другой раз выпускные расхохотались бы над этим несвоевременным и несоответствующим ответом, но сейчас, примиренные успокоенные, выходят они из комнаты немки и под предводительством m-lle Оль направляются в церковь.

Церковь вся тонет в полумраке. Освещены лампадами

лишь некоторые образа.

Институтки с молитвенниками в руках опускаются на колени, и покорные, ждут очереди исповеди. На них смотрят строгие и суровые очи угодников, кроткие – Спасителя, благие – Его Божественной Матери. И мнится им, что Неведомый, Таинственный и Прекрасный Бог незримо проходит по рядам девушек и осеняет Рукой Своей каждую склоненную над молитвенником головку...

– Каяться надо... Каяться плакать и земные поклоны до холодного пота отбивать и молиться... Все надо священнику поведать, все без утайки о Тайночке нашей. А то за грех и ересь покарает Господь. Не даром же Он, Благий и Грозный, наказует нас ныне.

Это говорит Капочка Малиновская. В полутьме церкви ярко сверкают ее глаза. На бледном лице вспыхивают яркие пятна румянца. Капочка не зря напоминает подругам о наказании свыше. Как наказание Божие приняли девушки случившееся с ними неприятное событие.

Письмо к почетному опекуну барону Гольдеру было послано с Сергеем Баяном.

Но барона не оказалось дома, он уехал за границу и не обещал вернуться до весны. Сергей Баян оставил письмо институток у лакея и поспешил с этой вестью к сестре.

Выпускные взволновались. Отсутствием почетного опекуна уничтожалась последняя возможность предотвратить назревавшую катастрофу. Присутствие Глаши в институтских

стенах делалось с каждым днем все опаснее.

Об этом и думает сейчас Ника. Тревожны ее глаза, беспокойно лицо. Вдруг чьи-то тонкие руки обвивают ее шею, чьи-то исступленные поцелуи сыплются на щеки, глаза и лоб.

– Ника, Ника, простите меня, помиримся, дорогая! Неужели вы думаете, что я умышленно тогда, на Рождество, подвела вас? – и бледное взволнованное личико княжны Ратмировой, все залитое слезами, предстает перед Никой.

Вот уже более двух месяцев как Ника Баян не встречается с княжной, не замечает ее. А между тем княжна ни в чем не виновата. Разве только в том, что «обожает» Нику.

Последней жаль девочку. Ника слишком развита и умна, для того чтобы не понять всей глупости этого пресловутого институтского обожания; оно нелепо и смешно. И об этом она еще раз шепчет тихонько Заре, пожатием руки смягчая свои суровые слова.

– Будем друзьями. Перейдем на «ты». Станем дружить, как Земфира и Алеко? – предлагает она. – Хочешь?

– Хочу! Хочу! – шепчет радостно Заря и, наскоро чмокнув розовую щечку подруги, пробирается к своему отделению сквозь ряды коленапреклоненных институток.

В этот вечер, исповедав выпускных отец Николай, представительный священник, был несказанно удивлен тем обстоятельством, что ровно тридцать пять девушек покаялись ему в одном и том же грехе: в укрывательстве некой Тайны от начальства. Но кто и что была это за Тайна, – добрый отец

Николай так и не мог понять.

Глава XVI

Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!

Как светло и радостно звучат нынче пасхальные напевы! Как праздничны и веселы эти, словно обновленные, юные личики! Как звонко и чисто звенят молодые голоса! Нета Козельская, забыв свою обычную сонливость, плавным движением руки, вооруженной металлическим камертоном, руководит хором.

Там, в толпе молящихся, светлыми пятнами выделяются нарядные платья гостей, родственниц, начальства. Сама «таман», в новом ярко-синем шелковом платье, кажется королевой среди толпы подданных: так величаво ее лицо, ее седая голова, так стройна и представительна ее прекрасная фигура. Около нее почтительно теснятся учителя, инспектор, почетные опекуны. Только нет главного, барона Гольдера, – и при мысли об его отсутствии тревожно замирают сердечки выпускных.

После заутрени идут разговляться. Посреди столовой накрыт длинный большой стол. Испокон веков в эту ночь в институтской столовой разговляются начальство, учителя и классные дамы. Эта столовая нынче наполовину пуста. Почти весь институт разъехался на пасхальные каникулы. Остались только старшие выпускные, да кое-кто из младших ино-

городних.

За столами выпускных царит необычайное оживление. Едят кислую институтскую казенную пасху, переваренные, как камни тяжелые, крутые не в меру яйца, пересоленную ветчину и мечтают вслух о той минуте, когда можно будет подняться наверх в дортуар и разговеться «собственными», присланными из дому, яствами.

– Христос Воскресе, *mademoiselles!* С праздником! – и к столу подходит всеобщий любимец инспектор. – Устали, верно? Еще бы! А поете вы прекрасно. М-Ле Алферова, вот обещанный подарок для вас.

И тут Александр Александрович протягивает вспыхнувшей до ушей девушке крохотный брелок, до последней мелочи изображающий электрическую машину.

– *Merci! Merci!*²⁹ – шепчет, приседая, в конец растерявшаяся Зина.

Инспектор отходит с довольным лицом. Так приятно осчастливить кого-нибудь из этих милых девочек, а тем более Алферову, которая своими неусыпными заботами о физическом кабинете вполне заслужила его маленький подарок.

– Счастливица! Счастливица! От самого Александра Александровича получила «память» – шепчут с завистью подруги.

– *Mesdam'*очки, смотрите, какое оживление царит за учи-

²⁹ Спасибо! Спасибо!

тельским столом. Даже Цербер развеселился.

Действительно, даже мрачный, всегда угрюмый учитель истории разошелся вовсю и был против своего обыкновения весел, остроумен и оживлен. Зоя Львовна привлекала всеобщее внимание. Она казалась прелестной в своем новом форменном синем платье с кружевной бертой,³⁰ грациозно облежавшей ее плечи.

– Дуся! Ангел! Прелесть! Ем за ваше здоровье пятое яйцо! – звонким шепотом посылает ей Золотая рыбка, отличающаяся завидным аппетитом.

Зоя Львовна быстро встает и направляется к крайнему столу выпускных.

– Ну, вот и отлично, все мои любимицы сгруппировались вместе, – говорит она, сияя глубокими ямками На щеках. – Вы, Ника Баян, да вы, парочка цыган, inseparables³¹ Тольская с Сокольской, вы, очаровательная представительница Армении, Тамара, вы, Лихачева и вы, Козельская, – очень прошу вас всех в четверг к себе на вечер. «Маман» позволила мне устроить этот вечер и даже предложила свою квартиру для этой цели. А вы, Ника, можете позвать ваших братьев, у меня будет недостаток в кавалерах. Придете, mesdames?

– Придем, мерси, придем, непременно!

– Ну, смотрите же... – Веселая, сияющая, так мало похожая на других классных дам, Зоя Львовна снова отходит к

³⁰ Воротник.

³¹ Неразлучные.

своему «почетному» столу.

В эту ночь институтки долго не ложатся. Строят планы на предстоящий четверг, спорят, волнуются. Первые лучи солнца застают еще бодрствующими выпускных.

Черненький Алеко, вскакивая на подоконник и простирая руки к восходящему утреннему светилу, декламирует:

Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало.

– Mesdam'очки, тише! У меня голова болит; я уже мигреневым карандашом голову намазала и компресс положила, а вы кричите... – стонет Валерьянка.

Понемногу все утихает в выпускном дортуаре. Тридцать пять юных головок приковываются к жидким казенным подушкам. Утреннее весеннее солнце, проникая сквозь белую штору, золотит все эти черненькие, русые и белокурые головки...

Спите спокойно, милые девушки! Кто знает, не последние ли это безоблачные сны вашей юности. Пробьет час, и раскроются широко перед вами двери в настоящую жизнь. И Бог ведает, много ли таких беззаботных ночей выпадет в ней на вашу долю...

Пасхальный четверг. Восемь часов вечера.

В квартире маман непривычное оживление. Самой Марин Александровны нет. Ее неожиданно вызвали к почетной высокопоставленной попечительнице института. Но четыре большие нарядно обставленные комнаты маман полны сегодня смеха, шума и веселья. Кроме выпускных воспитанниц и двух братьев Баян, Зоя Львовна пригласила на чашку чая и кое-кого из своих знакомых. Пришел к сестре и доктор Дмитрий Львович Калинин.

– Ну, как поживает наша Тайночка? – шепотом обратился он к Нике.

Та только рукой махнула.

– Ах, милый доктор, мы живем на вулкане, Скифка начинает догадываться и следит за нами в оба глаза.

– Кто? – удивленно поднял он брови.

– Скифка... Ну, Брунша, синявка наша. Неужели не знаете?

– Ха, ха, ха... Сиречь, классная дама?

– Ну, конечно. Наконец-то догадались.

– Вы и Зою синявкой называете?

– О, нет! Зоя Львовна – прелесть, само очарование! Разве есть у нее какая-нибудь черта, присущая синявкам? Смотрите, какая она дуся, ласковая, хорошенькая. И с нами как

с подругами обращается.

– Зоя, ты слышишь?.. Ты – само «очарование» и «дуся», – поймав за руку сестру, лукаво шепнул ей доктор.

– Вот противный-то, все передает! – расхохоталась сконфуженная Ника, в то время, как Зоя Львовна улыбалась ей своей обаятельной улыбкой.

– Но мы уклоняемся, однако, – принимая серьезный вид, произнес доктор. – Ну, что же ваша Зулуска?

– Не Зулуска, а Скифка, милый доктор, Скифка. Представьте, ей всюду мерещатся заговоры, бунты, измены. Она наяву бредит, ими, и, как сыщик, следит теперь за нами. Кое-что провела про Тайночку, и часа покоя буквально не видим от нее.

– Ха, ха, ха! Это вы-то бунтовщицы, заговорщицы! – расхохотался самым искренним образом Дмитрий Львович.

– Плохо еще то, что Бисмарк кукуется, боится Тайночку у себя держать. Мы барону нашему написали, просили принять участие в Тайне, да он уехал за границу. Неизвестно когда вернется. Положение бамбуковое. Представьте: бедная, бедная девочка-сиротка, ни отца, ни матери, никого кроме тетки – и не иметь права на жизнь, на кров и пищу! И такая прелесть еще, как эта Тайночка!

Дмитрий Львович слушал внимательно Нику и восхищался ее разгоревшимися глазками и озабоченным личиком. «Какая славная, добрая, красивая, девушка, какая нежная у нее душа!» – подумал доктор, не сводя глаз со своей себе-

седницы.

И движимый невольным чувством, он взял за руку Нику и произнес ласково:

– Доверите ли вы мне вашу Тайночку, если я придумаю способ устроить ее хорошо?

Карие глаза Ники вспыхнули радостью.

– Что вы хотите сделать? Что? – так и всколыхнулась всем своим существом молодая девушка.

– Подождите, дайте мне подумать. Разрешаете?

– Разрешаю! – тоном, преисполненным деланной важности, проронила Ника, но сердце ее забилось сильно, и новая надежда окрылила юную головку.

«Неужели, этот милый, симпатичный доктор найдет способ помочь нашему горю?»

В это самое время на противоположном конце стола Вова Баян уничтожал торты и конфеты наперегонки с Золотой рыбкой и оживленно болтал.

– Нет, вообразите только, – рассказывала своему кавалеру Лида: Скифка мечется, орет, бежит за Никой. А Ника несет на руках «кузину» Таиту, которую Скифка нашла у себя в постели. Вы знаете, ту «кузину», про которую на Рождестве вам Ника рассказывала? Ну, думаю, дело плохо. Схватила аквариум, да как о пол – хлоп. Понятно, рыбки затрепетали, а тритоны тягу дали, но в общем маневр достиг цели. Скифка глаза выпучила, рот до ушей, и назад...

– Помилуй Бог! Молодец! Хвалю! Вот это по-нашему, по-

суворовски! – восторгался Вова, отправляя в рот чуть ли не десятую порцию торта.

– Нет, а теперь-то я сама отличилась, вы знаете? Записку съела. Вы слышали?

– Что-о-о?

– Вот и то... Пишу секрет Нике про то, чего и вы даже, Вовочка, знать не должны и не знаете, а Скифка тут как тут. «Абер» и так далее... Покажи записку и никаких... Ну я и не будь дурочкой, хам ее в рот, пожевала и проглотила.

– Ну?..

– Ну и ничего. Тошнило потом немножечко. Валерьянка выручила, мятных капель дала.

– Нет, помилуй Бог, это, шут знает, как все прекрасно! – восторгался Вова: – как жаль, что вы не наш брат кадет... А то бы мы оба вместе в Суворовский Фанагорийский полк поступили. И какой бы славный солдатенок из вас вышел, помилуй Бог!

– Нета! Неточка! Спойте нам что-нибудь, – попросила Зоя Львовна Козельскую.

Та сидела рядом со старшим Баян. Сергей сумел заинтересовать эту всегда сонную, апатичную девушку. Он рассказывал ей об электрической выставке, которую посетил на днях, и попутно коснулся и самого электричества. Это был конек юноши. Он любил избранную им профессию. И говорил он с захватывающим интересом, увлекаясь сам и увлекая свою собеседницу. Красавица Неточка с чудно оживившимся ли-

цом и загоревшимися глазами ловила каждое слово молодого электротехника. Словно проснулась она, когда Зоя Львовна подошла к ней, прося ее спеть. Неохотно поднялась со своего места молодая девушка и подошла к роялю. И через минуту нежные, бархатные звуки молодого сочного сопрано задрожали и понеслись по комнате.

Хорошо пела Неточка, и все присутствующие невольно замерли, поддаваясь обаянию этих сочных, мелодичных звуков. Точно поднялась мягкая лазоревая волна и покатила в безбрежное море... Точно засвистал соловушка в дубовой чаше, и песнь его нежной свирелью зазвенела под мохнатыми кущами деревьев... И, как бы звонкий лесной ручеек откликнулся ему в чаше. Сапфировой водной, серебрястой соловьиной трелью и звоном лесного ручья разливалась несложная песенка Неты. И под звуки песни красивое одухотворенное лицо Дмитрия Львовича приблизилось к Нике.

– Я придумал... Я нашел способ устроить вашу Тайну и выручить всех вас из беды. – услышала его голос Ника.

– Как? Что? Но как же? Как же?

– Да очень просто, – улыбаясь, произнес доктор, – пока не вернется из-за границы ваш барон, я продержу девочку у себя. Правда, квартирка у меня малюсенькая при госпитале, но, авось, места хватит. А денщик мой, Иван, славный парень и будет не худшей нянькой для вашей Тайночки, нежели ваш, как его... Бисмарк.

– О, какой вы милый, доктор, и как я вас за это люблю! –

вырвалось бессознательно из уст Ники, – и как вам отплатить за все это, уж и не знаю сама.

– А я научу...

– Научите, пожалуйста.

– Стало быть, вы находите, что я достоин награды? – тонко улыбнулся Дмитрий Львович.

– Конечно! Конечно!

– В таком случае, разрешите мне приехать к вам в вашу далекую Манчжурию и сказать вашим родителям: «вот девушка, сердце которой – сокровище, и оберегать его от ударов судьбы почел бы за счастье каждый, а я больше, нежели кто-либо другой»?

Но для этого надо, чтобы и это чуткое милое сердечко забилося сильнее для меня. Я буду терпелив. Я буду ждать. И дайте мне слово, Ника Николаевна, если вам понадобится верный друг и защитник, любящее, преданное сердце, вы позовете Дмитрия Калинина.

Голос Дмитрия Львовича упал до шепота. Полны любви и ласки были сейчас его открытые честные глаза. В уголке у рояля их никто не слышал. Нета пела. Все присутствующие были поглощены ее пением. Даже Вовка и Золотая рыбка оставили на время свои торты и обратились в слух.

Сердце Ники билось сильно и неровно. Ей, считавшейся еще ребенком, девочкой, в ее юные шестнадцать лет, открыл свою душу этот сильный, честный, благородный человек, брат любимой Зои Львовны, принесший все свои силы

на алтарь человечества. Под звуки пения Неты, он шептал ей о том, как он узнал от сестры о их бедной сиротке Таиточке, как тронуло его ее, Никина, доброта и как он сам себе сказал:

«Вот та, которую ждет мое сердце, та, которую я с первых лет юности бессознательно предчувствовал и любил».

– Я не требую, – говорил он, – чтобы вы теперь же, по выходе из степ учебного заведения, дали слово соединить вашу жизнь с моей, но когда-нибудь... Когда я докажу свою преданность на деле, когда вы больше узнаете меня...

О, как забилося сердце Ники, как, бурно заколотилось оно в груди при этих словах. Умное честное лицо Калинина дышало глубоким чувством. Открытые, смелые глаза впились ей в душу.

– Вы мне очень нравитесь, – смущенно пролепетала Ника, – и я уверена, что сильно и крепко могу привязаться к вам. Вы такой честный, благородный, нравственно красивый... Зоя Львовна рассказывала мне столько хорошего о вас... Каждая девушка только гордилась бы стать вашей женой. Но... Но я еще так мало знаю жизнь... Я такая глупая... Ведь у меня одни шалости в голове, детские проказы... Какая же из меня выйдет жена?!

– Я не тороплю вас, Ника, но когда-нибудь потом... Вы позовете меня?

– О, да, да! Ведь вы же лучший из людей, которых я встречала! – вырвалось из груди Ники так искренно и непроизвольно, что Дмитрий Львович не мог не наклониться и не

поцеловать маленькую ручку, протянувшуюся к его сильной энергичной руке.

– Ну, а теперь я бегу успокоить Ефима. Вечером в дортуре сообщу нашим о том, что до поры до времени вы берете Таиточку к себе, – произнесла веселым шепотом Ника.

– Жалею, что не могу сделать этого на более продолжительное время и тем заручиться вашим расположением, – заметил молодой доктор.

– О, оно и так есть! – и с лукавым смехом девушка подбежала к столу, схватила из вазы с фруктами большую сочную грушу и, шепнув по дороге Зое Львовне, что она отнесет грушу Таите, незаметно проскользнула в коридор.

Глава XVII

Как пустынен и скучен кажется этот бесконечными коридор после веселого оживления, господствовавшего в квартире начальницы! Как мертво молчит после дивного, чарующего пения Неточки эта гробовая тишина!

На лестнице, к которой медленно подходит Ника, царит полутьма. Вот и площадка, на которой ее поджидала на Рождество Сказка и где она испугалась чуть ли не до обморока тогда. Бедная Заря! Какой пустынькой и ничтожной кажется она теперь Нике. Эго глупое, смешное взаимное «обожение» так надоедает в конце концов. А дружба их не клеится как-то, очевидно, трудно дружить с девочкой другого класса. Но все равно. Теперь скоро выпуск. Недолго уже осталось. Сразу после Пасхи начнутся экзамены, а потом тридцать пять юных девушек, как птицы, вылетят на свободу. И она, Ника, в числе этих счастливиц. И улетит она на свою милую маньчжурскую границу, в страну сопок и гаоляна, в страну загадочного востока, где Нику ждет не дождется родная семья. Улетит туда Ника, а доктор Дмитрий Львович останется здесь. Они будут переписываться, общаться на расстоянии многих тысяч верст друг с другом... А потом?.. Сердце замирает в груди Ники, лицо ее вспыхивает румянцем. А потом он приедет. Они обвенчаются, и она, Ника, будет счастлива, как могут быть счастливы люди только в сказках...

Ника так погружена в свои мысли, что не замечает, как какая-то темная тень скользит все время за ней, придерживаясь неосвященных углов коридора. Быстро приближается девушка к знакомой двери и стучит в нее условными звуками три раза подряд.

– Отворите, Ефим, это я! – звонким шепотом шепчет у порога сторожки Ника.

Темная маленькая фигура замерла на минуту, спрятавшись за широкую колонну лестницы.

Веселой птичкой впорхнула в сторожку Ника.

– Тайна! Тайночка! Таиточка! Смотри-ка, что я тебе принесла, – и девушка с лукавым смехом прячет за спиной грушу.

– Бабуська Ника плисля! – радостно вскрикивает Глаша и, забыв мгновенно о пестрых кубиках, из которых только что приготовилась выстроить какое-то удивительное здание, спешит с широко расставленными для объятий ручонками навстречу своей любимице.

Но прежде, нежели заняться девочкой, Ника передает Ефиму, отложившему в минуту ее появления в сторону газету, о новости, которая, она знает твердо, успокоит старика.

– Завтра же, завтра, Ефим, кончатся наши муки, и наша маленькая Глаша будет, как у Христа за пазухой, в квартире брата Зои Львовны, пока не пристроит ее в приют наш барон.

К полному изумлению Ники, Ефим далеко не радуется ее сообщению. Веки его предательски краснеют, и он что-то по-

дозрительно долго сморкается в клетчатый платок.

– Ах ты, Господи Боже мой, как же так неожиданно, сразу? Предупредили бы заранее, барышня. Привык ведь я, ровно к родной внучке, к проказнице этой, – уныло говорит старик.

– Да кто вам мешает навещать ее? Хоть каждую неделю ходите к Глаше, – успокаивает его Ника.

– Каждую неделю – не каждый день, – волнуется Ефим.

Бедный старик! Он, действительно, привык, как к родной внучке, к этой белобрысой девочке, то проказливой и шаловливой, то бесконечно ласковой, способной целыми часами просиживать с куклой подле него, пока он, Ефим, решает «политические дела» за своей газетой. И с этой самой черноглазенькой Глашуткой ему приходится расставаться теперь!

– Вот тебе, на, получай! – и одной рукой Ника подхватывает на руки Глашу, другой протягивает девочке грушу.

– Глуса! Глуса! – радуется малютка и острыми, как у белки, зубенками, откусывает кусок сочного и вкусного плода.

– А ты французские фразы выучила, Тайночка?

Глаша смотрит на свою юную «бабушку» и смущенно моргает.

– Ну, так давай вместе учить.

И, пристроив девочку у себя на коленях, Ника начинает ее поучать французскому языку оригинальнейшим на свете способом.

– Ну, запоминай хорошенько *Je vous prie* – ты мне не ври. *Je vous aime* – я тебя съем... *Merci beaucoup* – у меня колет

в боку... Видишь, как легко запомнить. Повтори.

– Я тебя съем, – повторяет Глаша и заливчато смеется. Смеется за ней и Ника.

Вдруг бледное, перепуганное, искаженное ужасом лицо Ефима появляется перед ними – перед необыкновенными учительницей и ученицей.

– Барышня, миленькая, стучат...

«Стучат» – вот оно страшное слово! Это «стучат» полно рокового значения. Если стучат, значит, выследили, значит, узнали, в чем дело, значит, пропало все. И как бы в подтверждение этих мыслей, вихрем пронесшихся в кудрявой каштановой головке, у порога сторожки, по ту сторону двери, слышится знакомый, хорошо знакомый Нике голос:

– Отворите сейчас же, или я позову швейцара и прикажу выломать дверь.

– Скифка! Все погибло!.. – прошептали побледневшие губы Ники.

Она беспомощно обвела глазами комнату. Вот постель... Не годится... Шкаф, в нем полки, – тоже, значит, не годится совсем, А сундук? Это хорошо...

– Тайночка, милая, – бросается к перепуганной девочке Ника, – не плачь, и не кричи. Сиди и молчи, что бы ни случилось, а то будет очень худо твоей бабушке Нике, если сердитая чужая тетя узнает, что ты здесь.

И, судорожно обняв Глашу и иступленно целуя ее, она бежит с ней к сундуку и дрожащими руками приподнимает

его крышку.

Слава Богу, он пуст! На дне его лежат только несколько пачек газет.

Проворно опускается туда миниатюрная пятилетняя девочка. Белобрысая головка мгновенно исчезает в глубоком отверстии сундука, и крышка захлопнута, ключ повернут в замке и исчезает в кармане Ники.

– Вы отворите мне или нет? – слышится уже окончательно расвирепевший голос за дверью.

Как ни в чем не бывало, спокойная, но без кровинки в лице, медленно идет к порогу сторожки Ника и отодвигает задвижку двери.

Точно пуля, врывается в каморку Августа Христиановна. Ее лицо пышет жаром, глаза прыгают, губы дрожат.

– Ага! Так я и знала! Опять вы здесь? Ага! Что вы делали? Впрочем, я знаю, что вы делали. Можете не отвечать. Я все видела. Я все знаю. Бунт? Заговор? Я давно слежу... Пишете записочки... Шепчетесь. О какой-то тайне говорите... И сюда ходите с тем, чтобы читать запрещенные книжки... Знаю я вас... Книжки здесь прячете у Ефима... Недаром он все газеты читает... Сторож не должен читать газет. Он – бывший солдат, а он газеты, изволите ли видеть, читает, политикой занимается... Заодно с вами со всеми. Что? Нет? Как ты смеешь говорить нет, когда я говорю да?

Скифка буквально задохнулась от захватившего ее волнения. Схватив за руку Баян, она дергает ее изо всей силы и

кричит в самое ухо девушки:

– Куда ты спрятала книги, брошюры, запрещенную литературу? Куда, говори сейчас. Говори сейчас.

И так как Ника стоит бледная и молчит, как мертвая, Августа Христиановна вне себя мечется по сторожке, заглядывая в каждый уголок, за ситцевую занавеску, даже под кровать. Вдруг она видит большой сундук запертый на замок. На мгновенье глаза ее останавливаются на взволнованном личике Ники, и улыбка злорадного торжества проползает по тонким губам.

– Ага! Вот оно что! Вот ты куда прядешь принесенные сюда книги и брошюры. Понимаю... Сейчас же подавай сюда ключ, или я прикажу выломать замок.

– Барышня, Августа Христиановна, пожалейте себя, не волнуйтесь... – лепечет не менее самой Скифки взволнованный Ефим, выступая вперед. – Никакого бунта нет, никакого заговора, никаких книжек. Верьте моему слову, барышня. Неужто ж я бы покрывать заговор стал. Я моему царю и отечеству верный слуга.

– Открой сейчас же сундук! – не слушая его, по-прежнему наступает на Нику Скифка. – Я знаю, что ключ у тебя.

Та молчит, бледная, подавленная с упрямо сжатыми губами, с решительной складкой на лбу. И тяжелым взглядом затравленного зверька смотрит в лицо Скифке.

«Что хотите, делайте со мной, но ключа я не отдам», – как будто без слов говорит этот упорный, вымученный взгляд.

– Не отдашь! – неожиданно громко взвизгивает фрейлейн Брунс, – в таком случае, если не мне, то ты передашь этот злосчастный ключ непосредственно в руки инспектрисы. – И схватив за руку Нику, Августа Христиановна, насильно тащит ее из сторожки.

Не помнит Ника, как минует длинную лестницу и вместе со своей мучительницей поднимается во второй этаж. Видит, как во сне, длинный классный коридор, комнату инспектрисы, лицемерно сочувственное лицо Капитоши и самую Юлию Павловну в пестром турецком капоте, сидящую за чайным столом с большой чашкой в руках.

– Что такое? Августа Христиановна, почему вы так взволнованы? Баян, вы опять напроказничали, должно быть, – скрипит голос «Ханжи», прервавшей чаепитие.

Скифка не дает ей опомниться хорошенько и мигом обрушивается на виновницу происшествия и ее отсутствующих подруг. Слышатся снова отчаянные выкрики ее о бунте, о заговоре, о запрещенных книжках, спрятанных в сундуке, о ненадежности Ефима, о политической тайне, о ключе, которого ей не желают отдать... Она захлебывается, задыхается, не находит слов... Глаза ее прыгают и мечутся еще сильнее. Губы трясутся, побелев от гнева... Руки дрожат...

Инспектрисе передается ее волнение. Она встает бледная, взволнованная и произносит, трепеща всем телом:

– Это ужасно! Ужасно! Бунт, заговор в институте! Политические тайны!.. О, Боже мой, до чего дошли мы. И вы, Ба-

ян, вы, дочь своего отца, верного честного офицера? Вы, которая... На колени сейчас же... Каяться и молиться. Господь наш Небесный милостив и долготерпелив. Он простит вас, если вы назовете ваших сообщниц, если покажете спрятанные вами книги, если...

На минуту инспектриса замолкает, захваченная волнением, потом подхватывает снова и говорит, говорит, говорит...

А в это время Ника с тоской думает, что уже больше получаса прошло с той минуты, как она спрятала в сундук Глашу, и что, наверное, бедная девочка чувствует себя там далеко не хорошо.

«Нотация» госпожи Гандуровой между тем все длится, длится.

Наконец она решительно поднимается со своего места и, приказав Нике следовать за ней и пригласив за собой движением руки Августу Христиановну, идет, торжествующая и гордая, в злополучную сторожку...

На пороге с низким поклоном ее встречает Ефим. Но Юлия Павловна как будто и не замечает его даже.

– Вы дадите мне тотчас же ключ, – оборачиваясь к Нике говорит инспектриса.

Последняя стоит сейчас белее своего белого передника на пороге сторожки, вся обратившаяся в слух. Что это, послышалось ей что ли? Как будто легкий стон доносится до ее ушей. Бесспорно, он исходит из сундука, этот стон, из груди спрятанной там Глаши.

– Неужели же!?! Неужели?

Мертвенная бледность покрывает и без того бескровное сейчас личико Ники. Не помня себя, кидается она, забыв весь мир, к сундуку... Проворно вынимает ключ из кармана и трясущимися руками вставляет его в отверстие замка. Долго не повинуются ей дрожащие пальцы. Ужас сковывает душу. Сейчас только она начинает понимать, какая страшная опасность грозит маленькой девочке, пробывшей более часа в душном, как гроб, сундуке.

Наконец-то! Повернув ключ в замке и приоткрыв крышку, Ника оборачивается назад и говорит сдавленным от волнения голосом, обращаясь к обеим наставницам:

– Сейчас вы убедитесь, mesdemoiselles, что никакого бунта или заговора здесь не было, что мы ни в чем не виноваты, если не считать за вину наше общее желание приютить и согреть бедную сиротку.

С этими словами она поднимает крышку. В тот же миг отчаянный, душу потрясающий крик срывается с губ Ники и несется по нижним и верхним коридорам, заполняя собой все углы огромного мрачного здания, и Ника без чувств валится на руки подросшей «Скифки».

Много дней подряд и фрейлейн Брунс и госпожа Гандурова слышали потом этот крик безнадежного отчаяния, долго звучавший в ушах у обеих, и видели перед собой искаженное ужасом лицо девушки.

Не помня себя, кинулись они к сундуку и заглянули

внутри его. Заглянули и тотчас же отпрянули от него как ужаленные. Маленькое помертвевшее, исковерканное судорогой невероятных страданий личико глянуло на них оттуда закатившимися под лоб неживыми глазами.

– Маленький труп! Мертвая девочка! – вырвалось с удивлением и ужасом у женщин.

Между тем крик Ники был услышан Зоей Львовной и ее гостями на квартире начальницы. Услышали его и еще двое лиц, приобщившихся к собранию. То были вернувшаяся домой начальница и приехавший с ней высокий статный старик с седой гривой курчавых волос, с благородным лицом и совершенно белыми усами. Все они кинулись из квартиры генеральши по нижнему коридору на церковную лестницу, оттуда, как показалось им, слышался крик. Суматоха и голоса в сторожке подле мертвецкой привлекли их внимание. Матан первая заглянула туда.

Взволнованная инспектриса, потерявшаяся классная дама, смущенный, испуганный Ефим, державший на руках бедный маленький трупик, и без чувств лежащая посреди комнаты Ника – вот какое зрелище представилось глазам нечаянных посетителей сторожки.

– Что же это такое? Да что же это! – полными отчаяния звуками сорвалось с уст Марии Александровны.

Барон Гольдер, седой старик с львиной головой, окинул глазами комнату и сразу понял все. Открытый сундук, встревоженные лица и это посиневшее маленькое тельце на ру-

ках сторожа сразу пояснили ему все. Только вчера вернулся он поздней ночью из-за границы, прочел письмо институток, был очень польщен их доверием и тогда же решил помочь им во что бы то ни стало и выручить их... Последнее он должен был сделать тотчас же.

– Я вам все объясню сейчас, ваше превосходительство, – сказал он взволнованной и встревоженной начальнице; – я знаю всю историю и виноват в ней больше, нежели кто другой. Но прежде чем каяться в моей вине, я попрошу доктора – обратился он к вошедшему в эту минуту Дмитрию Львовичу – заняться малюткой и этой барышней. Может быть...

Он не успел еще договорить своей мысли, как молодой врач был уже подле Глаши. Положив помертвевшую девочку на постель, он долго выслушивал ее, лоя хотя бы слабые признаки жизни в этом, казалось, уже погибшем маленьком существе.

С затаенным волнением, испуганная на смерть, следила за ним группа институток, в нерешительности толпившаяся на пороге.

Наконец, Дмитрий Львович оторвался от посиневшего безжизненного, распластанного перед ним тельца и глухо произнес:

– Подушку с кислородом сюда... Жизнь еще теплится, хотя слабо... Надо, во что бы то ни стало, вызвать дыхание.

Кто-то из гостей кинулся исполнять его поручение в лазарет... Кто-то бросился приводить в чувство Нику.

Последняя долго не могла придти в себя. Наконец, карие огромные глаза девушки раскрылись, и она закричала, вся сотрясаясь от слез:

– Я убила ее!.. Я ее убийца!.. Она задохнулась благодаря мне!..

– Она жива, успокойтесь, ради Бога. Она жива.

Кто сказал это? Чье энергичное мужественное лицо склонилось над Никой? Чей голос прозвучал с такой уверенностью и силой?

– О, милый, добрый, великодушный друг! Какой тяжелый камень сняли вы с моей души! – глядя в глаза Дмитрию Львовичу, без слов, одним своим долгим признательным взором отвечала Ника.

Брат Зои Львовны был прав. Кислород и искусственное дыхание вернули к жизни едва не задохнувшуюся насмерть Глашу. Постепенно возвращалась краска жизни в помертвевшее личика. Сильнее забилося сердце, пульс. И маленькая Тайна открыла глаза...

– Бабуська Ника, – произнесла с первой вернувшейся к ней возможностью говорить малютка, – бабуська Ника, не сельдись. Я биля тихенькая, сиделя, как миська, и не пакаля совсем в больсом сундуке...

– О, милая крошка. Она точно извиняется за то, что ее же чуть не убили – смеясь и плача, прошептала Ника, бросаясь обнимать свою «внучку».

Когда все успокоилось немного, барон снова заговорил,

обращаясь к начальнице, инспектрисе и Августе Христиановне:

– Да, я очень виноват перед вами, mesdames. Я поместил без вашего разрешения здесь, в сторожке, эту маленькую девочку-сиротку и просил моих юных друзей, институток старшего класса, позаботиться при помощи сторожа Ефима о ней, пока обстоятельства не позволят мне устроить ее иначе. Теперь же я похлопочу о приеме девочки в один из образцовых приютов, с начальницей которого я знаком лично. Еще раз прошу извинения за самовольный поступок и прошу вменить в нем меня одного.

И барон почтительно склонился к руке начальницы.

«О, милый, бесконечно милый барон! Как досадно, что мы не обратились к нему с нашей просьбой намного раньше!» – мелькнула одна и та же мысль у Ники и ее подруг.

Что оставалось делать Марье Александровне, как не любовно улыбнуться на все эти речи? Вызвала на свои тонкие губы улыбку и инспектриса, вернее, подобие улыбки. И только одна Скифка сохранила кислое выражение лица.

По настоянию Дмитрия Львовича, Глашу перенесли в лазарет, в отдельную комнату, и выпускным было разрешено дежурить до ночи у ее постели. К счастью, печальное происшествие не имело дальнейших последствий для здоровья девочки. Через несколько недель щедро наделяемая поцелуями, слезами и подарками и напутствуемая бесчисленными пожеланиями своих «теток», «мам», «пап» и «бабушек», а

также дяди Ефима, маленькая институтская Тайна покидала приютившие ее стены для поступления в приют. Ее родная тетка Стеша не находила слов благодарить благодетелей малютки Глаши – добрых барышень и великодушного барона.

Судьба Глаши, выяснившаяся теперь, не оставляла желать ничего лучшего.

Тайна перестала быть тайной, и превратилась в обыкновенную маленькую девочку Глашу, но родившуюся, очевидно, под счастливой звездой.

Глава XVIII

Наступал тихий ласковый апрель. Легкими быстрыми шагами подошла красавица-весна с ее зелеными почками, с алыми зорями и поздними закатами. Пробудился, проснулся от долгой зимней спячки институтский сад. Еще не покрытыми пышной сеткой зелени стояли деревья, еще не распустились цветы, но их ароматное дыхание чувствовалось уже в воздухе.

Целые дни проводили, готовясь к выпускным экзаменам, в саду институтки. Расстилали казенные пледы на молодой бледной травке под деревьями, уже опущенными редкой зеленью, уже предчувствовавшими скорую радость весеннего расцвета.

Кое-где вскрывались уже набухшие почки и носились над ними первые мотыльки. Звонко заливалась иволга, и ее звонкое пение, доносившееся из послед ней аллеи, тревожило молодые, чуткие, столь восприимчивые ко всему прекрасному, сердца.

Чудный апрельский вечер. В воздухе носится чарующий нежный аромат весны.

В полуразвалившейся беседке в последней аллее, где постоянно царит такой славный зеленоватый полумрак, идет усиленная подготовка к экзамену истории. Мрачный историк не знает пощады, и на его экзамене следует знать пред-

мет на зубок. Это не то, что батюшка, которому Золотая рыбка умудрилась сказать на выпускном экзамене Закона Божие, что Иоанн Златоуст жил за два века до Рождества Христова. В просторной беседке собралось с книгами в руках несколько человек. Стоят, сбившись в кучку и затаив дыхание, следят, как какая-то серенькая пичужка домовито хлопчет, таская в клюве былинки, травки и соломинки для своего будущего гнезда.

– Mesdam'очки, смотрите, смотрите! – и умиленная Шарадзе с оживленным лицом указывает куда-то вдаль.

Там носится с легким писком вторая пичужка.

– Это – муж и жена, – решает армянка, – и через месяц в их гнездышке будут прелестные маленькие птенчики.

– Трогательная идиллия, – смеется Баян.

– Ну, уж ты молчи лучше! – вспыхивает Шарадзе. – Ужасно заважничала с тех пор, как метишь в belle-soeur'ки³² к классной даме.

Теперь наступает очередь вспыхнуть Нике. Ах зачем она рассказала всем об этой светлой странице ее жизни, о первой любви ее к брату Зои Львовны, к этому милому энергичному Дмитрию, которому дала обещание стать его женой. Но делать нечего. Слово не воробей – вылетит, не поймаешь. И она звонко, беззаботно хохочет.

– Смотри, выйду замуж за брата классной дамы, и сама синявкой сделаюсь, – хохочет Ника.

³² Belle-soeur – невестка.

– Вот, вот! Это тебе как раз к лицу!

– Mesdam, слышите, кажется соловей щелкнул.

– Тсс... Слушайте, слушайте его.

– Нет, для соловья рано еще. А хочется песен. Пусть Неточка споет.

– Спой, спой, Нета, напоследок, – пристают девушки к Спящей красавице.

– А кто за меня войну Алой и Белой Розы выучит? Не вам, а мне отвечать, – говорит своим певучим голосом Нета, и тут же, не совладав с собой, начинает:

Ты не пой, соловей, под моим окном,

Ты лети, соловей, к душе-девице...

Словно всколыхнулся и замер старый сад, и притих весенний ветер, не шелестя травой... Все росли и крепили бархатные звуки улетали, как окрыленные, туда, в голубую заоблачную высь, и сладко мечтается под такое пение. Разгораются юные души, жаждущие подвигов, любви и самоотречения...

– Mesdam'очки, – первая приходя в себя, прошептала Капочка, когда последняя нота романса замерла в воздухе, – как хорошо нынче! Целый бы мир обняла сейчас!

– А провалимся, дорогая моя, завтра на экзамене, так будет совсем скверно, – неожиданно вставляет Зина Алферова.

– Mesdames, а я как об истории завтрашней подумаю, так

у меня под ложечкой начинает сосать, – проглатывая мятную лепешку, с унылым видом говорит Валя Балкашина.

– Ложку брома, двадцать капель валерьянки, горчичник, и все будет прекрасно, – смеется Золотая рыбка.

– Да, mesdames, сейчас мы сидим здесь в беседке, такие близкие, такие родные, – говорит, любуясь приколотым на груди у нее цветком хризантемы, Муся Сокольская, – а через год забудем мы друг друга, как будто и не были мы вместе, не веселились, не волновались никогда.

– Ну, это ты сочиняешь положим, дитя мое. Мы с Мари, например, никогда не расстанемся, – горячо произносит черненький Алеко. – И жить будем вместе, и горе и радость делить пополам.

– Вы счастливицы, – с завистью глядя на подруг, говорит кто-то.

– Я, mesdames, уеду в Австралию. Переоденусь в мужское платье, буду обращать в христианскую веру дикарей, – с блестящими глазами говорит Капочка.

– Не завидую я дикарям, – смеется Золотая рыбка, – ты, Капочка, костлява, как лещ и вся постным маслом пропиталась. Зажарят они тебя на костре, а есть-то и нечего...

– Я в Тифлис поеду. Верхом скакать стану... Далеко в горы поскачу, – с разгоревшимися щеками роняет Тамара.

– А загадки загадывать будешь? – прищуривает лукаво Алеко свои цыганские глаза.

– Понятно, буду.

– Лошади?

– Кому?

– Ну, лошади, на которой поскачешь.

– Вот еще. Зачем лошади, когда люди есть.

– А ты, Неточка, на сцену поступишь? С таким голосом грешно хоронить талант.

Прекрасное лицо Козельской вспыхивает.

– Куда ей на сцену! – хохочет Маша Лихачева. – Она выйдет петь на сцену, откроет рот и заснет.

– Неправда, – улыбается Нета, – это раньше было бы, может быть, а теперь нет... – и глаза недавней Спящей красавицы устремляются куда-то с мечтательным выражением. Там, в заоблачной дали мерещится ей легкий и стройный силуэт юноши с лицом Сережи Баяна, сумевшего расшевелить ее, тихую, сонную до сих пор Неточку, своими пылкими речами, в которых сулил в будущем себе интересную, захватывающую профессию электротехника, а ей – все то, что может дать ее бесспорный талант певицы.

Медленно садилось солнце... Алая вечерняя заря вспыхнула на горизонте и ярким поясом опоясала полнеба...

Заревом заката даль небес объята,
Речка голубая блещет, как в огне,
Нежными цветами убраны богато,
Тучки утопают в ясной вышине,

– декламирует стихотворение своего любимого поэта Над-

сона Наташа Браун.

Когда она кончает, все долго молчат. И снова тихо звенит нежный, печальный голос «невесты Надсона».

– А я, mesdames, уеду к себе на родину, в Саратов... Продолжать буду копить деньги на памятник «ему». Вот поставлю памятник, украшу венками и буду каждый день ходить туда, свежие цветы менять, а зимой венки из хвои.

– А я в Севилью поеду, – неожиданно вырывается у Галкиной.

– Вот-вот, тебя только там и не хватало! – смеется Шарадзе.

– И не хватало, понятно... Жить буду там, на бой быков ходить, серенады слушать.

– Смотри, прекрасная испанка, за тореадора замуж не выскочи, – смеется Золотая рыбка.

– Тебя не спрошу.

– А Хризантема, mesdames, не права, говоря, что мы разлетимся в разные стороны и забудем друг друга... Ведь есть же связывающее всех нас навеки звено, – неожиданно поднимает голос Ника, притихшая было до сих пор в глубокой задумчивости, так мало свойственной этому жизнерадостному, подвижному, как ртуть, и неумолчному юному существу.

Все смотрели на нее вопросительно.

– Наша Тайна разве уже не связывает нас? Неужели вы о ней забыли?

– Но она будет в приюте и перестанет нуждаться в нашем

попечении, – слышатся несколько грустных голосов.

– Напротив, напротив. Именно теперь и будет нуждаться, и всю жизнь. И мы должны, mesdames, довести доброе дело до конца.

Звонкий голосок Ники звучит глубоко, проникновенно.

– Мы не выпустим ее из вида ни на один день. Пусть те, кто живет в этом большом городе, навещают ее и сообщают о ней тем, которые будут заброшены отсюда на край света. Да, да, так будет. Так должно быть.

– Да будет так, – шутливо-торжественно поднимает руку Шура Чернова.

Но на нее шикают со всех сторон. Плоской и ненужной кажется в этот торжественный момент шутка.

– Да, да, mesdames, мы не можем оставлять Глашу, нашу Тайну, мы должны всячески заботиться о ней. Дадим же слово друг другу делать это.

– Даем слово!

– Честное слово!

– Клянемся!

– Да! Да!

Еще ниже спускаются голубые сумерки. Догорел алый закат на далеком небе. Где-то далеко от садовой беседки дребезжит звонок. Это зовут к ужину и вечерней молитве.

– Ника, – неожиданно просит Золотая рыбка: – спляши нам сейчас.

– Душа так просит красоты, – тут же поддерживает «неве-

ста Надсона».

– Да, да, спляши, Ника, – уже раздается общий настойчивый голос.

Без слов и возражений поднимается со скамьи хрупкая изящная фигурка темнокудрой девушки. Быстрым движением сбрасывает она с ног неуклюжие прионелевые ботинки и, оставшись в одних чулках, феей юности, легкой и воздушной, кружится по просторной беседке. Каштановые кудри распадаются из тяжелого узла и струятся вдоль стройных плеч и тоненькой шейки. Вдохновенно поднятые к вечернему небу глаза словно кого-то ищут в лазурных далях... Она дает один круг, другой, третий, четвертый... Несравненны ее движения, прелестно одухотворено лицо, о чем-то словно говорит ее порывистое дыхание.

Восторженно смотрят на нее подруги. Точно поют их молодые души... Расцветают в них розовые крылатые надежды. И чудится каждой из этих притихших в молчаливом восторге девушек, что сама Радость Жизни, Светлая Волшебница Счастья, носится перед ними, олицетворенная, неуловимая и нежная, как полуночный сон.

Но вдруг порвалось настроение...

Внезапно остановилась Ника. В полуоткрытую дверь беседки просовывается испуганное лицо:

– Mesdam'очки, ради Бога... До того заучилась что в голове все перепуталось – одна каша... Помогите, ради Бога. У кого, у греков или римлян, была третья Пуническая вой-

на? – и Эля Федорова с не поддельным выражением отчаяния оглядывает собравшихся в беседке подруг.

– У персов... У египтян... У франков... – хохочет, как безумная, Шарадзе и опускается, точно валится на скамью.

А сумерки все сгущаются, все ползут незаметно... Алая заря давно побледнела... Где-то в последней аллее защелкал ранний соловей, защелкал тонко, таинственно и грустно.

Еще один день канул в вечность. Еще одним днем ближе к тому неизбежному часу, когда тридцать девушек, как стая легких птиц, разлетятся по белу свету в погоне за своей долей, – счастливой и радостной, или мрачной и печальной – кто знает, кто ведает сейчас!..